



ЭНМЕРКАР

ДОРОГИ МАГА
АВГУСТИН ИЗ АНКОНЫ

Эн Меркар

Дороги Мага. Августин из Анконы

«Автор»

2026

Меркар Э.

Дороги Мага. Августин из Анконы / Э. Меркар — «Автор», 2026

Книга посвящена жизни и трудам монаха Августина Трионфи (одно из прошлых воплощений Автора) — ученого-богослова и путешественника начала XIV века, чья жизнь разворачивается на дорогах Европы и Ближнего Востока. Повествование идет о его духовных исканиях, университетской учёбе в Падуе и Париже, службе при дворе и в монастырях, соприкосновении с тамплиерами, а также практике экзорцизма. Рассказ идет от первого лица, что позволяет глубже понять духовный поиск, открытия и сомнения схоласта в условиях сложной реальности позднего средневековья. Книга исторически достоверна и освещает многие реальные события, имевшие место в университетах, при папском и королевских дворах, касается религиозных конфликтов и монастырских практик конца XIII — начала XIV века. Сюжет показывает социальные достижения и внутренний рост героя, его взаимоотношения с властью, верой и собственным призванием.

© Меркар Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Предисловие	5
Пролог	7
Часть I. Анкона и Портоново (1274–1290)	10
1. Дом купца	10
2. Дорога к Белому камню	12
3. Странные воспоминания	15
4. Два языка	17
5. Дядя Гульельмо	19
Часть II. Орден и начало Пути (1290–1298)	26
1. «Падуя: послушание и учеба» (1290–1292)	26
2. От обучения – к самостоятельному мышлению (1292-1298)	28
3. Первый опыт в политике (1297)	33
4. На службе Ордена (1298-1299)	36
Часть III. Путешествие в Страну Востока (1299-1303)	40
1. Рыцари Ордена Храма	40
2. «Последний вздох» крестоносцев	44
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Эн Меркар

Дороги Мага. Августин из Анконы

Предисловие

Идея написания этой книги очень долго поднималась во мне изнутри, как поднимается уже совсем было забытый запах из старого сундука: поначалу едва ощутимо, затем все более настойчиво, пока уже стало совершенно невозможно игнорировать воспоминания. Я жил сложной жизнью, рос, ездил, учился, занимался Магией, и все это время рядом со мной шли другие слои памяти – обрывками, вспышками, внезапными «сдвигами» мира, которые случались без предупреждения и оставляли за собой долгое послевкусие.

Самое раннее воспоминание этой серии было связано с дорогой. Я был еще совсем ребенком, лет пяти, и часто ездил в автобусе за город, и во время долгой дороги часто смотрел на свою руку, лежащую на подоконнике автобуса, рассеянно, как часто смотрят дети, когда устают от пейзажей за окнами и разговоров. И не раз в это время в какой-то миг рука становилась словно чужой: старческой, с плотной кожей, с тяжелым перстнем на пальце, в котором зеленый камень казался живым, словно хранил в себе часть дневного света. Над кистью был черный широкий рукав, а под ним – белый внутренний, чистый и строгий. Я моргал, пытался «вернуться», но вместе с этим видением нарастало ощущение долгого пути: я видел, что тот человек много ездил в конных носилках, где качка и стук копыт превращают само время в молитвенную рецитацию. Внутри этого воспоминания всегда была странная уверенность в себе, ощущение ценности прожитой жизни, и память словно требовала, чтобы к ней отнеслись серьезно.

Позже подобные «наложения» стали приходиться в других местах, там, где воздух и рельеф сами напоминали о былых временах. В моем любимом Крыму, в горах, я иногда вдруг ловил пейзаж, который вроде бы и совпадал с тем, что было передо мной, но все же имел несколько другой рисунок: иной уклон склонов, иная жесткость света, другие линии леса. Тогда я еще не знал, как выглядит северная Италия, и потому не мог подменить восприятие – воспоминанием сознательно; однако чувство узнавания было таким явным, будто я глядел на давно знакомые тропинки, по которым ходил так много раз. Иногда это доходило до ясной телесной отчетливости: я переводил взгляд вниз и видел свои ноги босыми, но в сандалиях, так, словно ходил много и часто, когда кожа и обуви и ног уже потерта камнями. В другой раз на ногах были туфли, сшитые «выворотным» способом, мягкие, с таким кроем, где шов спрятан и служит для большей износостойкости. Эти детали всегда приходили как тактильная память, так, наверное, ощущают обувь люди, которые зависят от нее каждый день, и для которых важно удобство в долгом пути.

Однажды, уже взрослым, я стоял в соборе в Тулузе. Было то особенное церковное полумрачное освещение, когда узкие стрельчатые окна как бы продолжают солнечные лучи. Я смотрел на камень, на высокий свод, и вдруг совершенно отчетливо увидел на себе монашеское одеяние – тяжелую ткань, простой крой, кожаный пояс, который поддерживает не только одежду, но и сам внутренний настрой. В этом видении было ощущение привычки, как будто я много раз затягивал этот пояс и знал, что он означает. Там, среди холодного камня и теплого воска, пришло понимание, что память касается дисциплины, которой жил тот человек: умения держать себя, не потерять обеты, пройти свой день так, чтобы вечерняя молитва произносилась без стыда.

Бывали воспоминания и другого рода – тяжелые, с запахами, от которых еще долго было трудно отделаться. Иногда накатывали картины военного похода, с четким ощущением «внутреннего» присутствия в нем. Я видел белые плащи крестоносцев, слышал скрип кожи, чувство-

вал плотный запах лошадей и пота, как это бывает в тесной колонне, где каждый шаг проходит рядом с чьим-то дыханием. Я вспомнил свое место в этом движении: там я был священником, капелланом, человеком, который идет вместе с войском и несет службу среди железа и страха. Иногда приходил и другой запах, более тревожный – кровь, земля, влажная ткань, и вместе с ним понимание, что вера в такие минуты узнается по дисциплине и выдержке; по тому, способен ли человек остаться человеком там, где легче всего сорваться, где проще всего быть лишь «винтиком в механизме».

А однажды, как будто кто-то наконец подал ключ, всплыло имя: «*Аугусто*». Оно звучало так просто и так знакомо, как зов из детства. За ним пришло еще одно слово – «*Анкона*». Тогда я сделал то, что и должны делать люди, когда память перестает быть частной странностью и становится настоящим требованием: я поехал туда. Анкона встретила меня морем и камнем, узкими улицами и лестницами, тенью старых стен. Мы гуляли по старой части города и там я поймал острое чувство, которое трудно объяснить трезвой фразой: словно я попал в детство, которое было когда-то чужим, а теперь признало меня своим. Я «помнил» повороты, переулки, где ветер всякий раз меняет свой звук, помнил собор на холме и усадьбу на склонах, помнил их как пространство, где когда-то происходили такие простые и знакомые события: шаги матери по двору, разговоры, утренний поход в церковь. Кое-где поверх нынешних домов словно проступали другие, исчезнувшие давным-давно; улицы будто на миг становились уже и темнее, и я видел исчезнувшие старые кварталы, разрушенные, когда город переживал свои войны и перестройки.

Тогда и возникло намерение написать эту книгу. Я не хочу делать из этих воспоминаний дешевое чудо, но и не хочу превращать ее в сухую справку. Мне важнее другое: пройти вслед за этой памятью так, чтобы она обрела ясность, человеческое измерение и историческую плоть; чтобы из обрывков сложилась судьба, и чтобы читатель увидел, как из внутреннего опыта рождается путь, выбор, служение, долг.

И потому дальше я буду писать так, как рассказывает человек, который помнит слишком много, чтобы просто успокоить себя в молчании, и который уважает Традицию настолько, чтобы не обращаться с ней легкомысленно.

Пролог

Келья у главного алтаря (Неаполь, март 1328).

Найдено при реставрации

В тот день в церкви Sant'Agostino alla Zessa в Неаполе стояла обычная для закрытых храмов прохлада: пыль известки, сырость старого камня, редкий запах ладана, который держится десятилетиями, как будто стены однажды вдохнули его и так и не выдохнули. После землетрясения в Ирпинии 23 ноября 1980 года храм оставался закрытым из-за тяжелых повреждений, и всякий вход сюда долгие годы был похож на визит в ранение, которое все еще болит.

Археолог шел за мастером, который проверял укрепления у пресвитерия. Свет от переносного прожектора цеплял коринфские колонны и уходил в боковые капеллы; где-то выше терялась огромная пустота купола. Эта церковь по масштабу всегда кажется громадным собором, и именно поэтому трещины здесь выглядят иначе, как строки какого-то письма на лице старика. У таких стен всегда бывает своя память о других землетрясениях и перестройках, о долгой истории комплекса, начатого при Карле I Анжуйском и законченного при Роберте Анжуйском, о времени, когда у августинцев здесь действовало студиум-генерале.

Реставрационные работы шли рядом с главным алтарем. И под снятой плитой вдруг обнаружилась маленькая полость, а в ней – сверток, завернутый в ткань, потемневшую до цвета сухой земли. Внутри лежала тетрадь, точнее, несколько сложенных листов, связанных шнурком, и крошечный кусок воска с остатком печати. Бумага была старая и плотная, с водяными знаками, с краями, обрезанными поспешно, она еще пахла старым клеем и дымом свечей.

В начале стояла дата: *март 1328 года*. Далее – короткая строка, написанная уверенно, хотя рука, судя по изгибам букв, уже уставала: *«Памятная записка»*. Автор будто говорил с теми, кто окажется рядом, когда его уже не будет: с братьями, с королем, а прежде всего – с самим собой.

С первых абзацев было ясно, что это письмо родилось возле королевских и папских тронов, и потому его автор слишком хорошо понимает цену правления. Церковь Сант'Агостино стоит у древней «зеки», у места, где город когда-то чеканил монету, а потому здесь само окружение напоминает, что власть всегда очень любит металл, любит приказы и приговоры, всегда узурпируя право распоряжаться судьбами.

Вот что было в этой записке:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я, Августин, недостойный брат ордена, пишу сие слово в келье при главном алтаре, в месяце марте, когда силы мои становятся малее прежнего, а долг остается тем же. Пишу для себя, чтобы мысль моя в конце пути не рассыпалась в пустые жалобы; пишу для братьев, дабы имелся у них ориентир в сомнительных делах; пишу для государя, которому дано многое, и потому многое спросится. Пусть читающий помнит: перо мое ведет истина, и я страшусь кривизны больше, чем чужого суда.

Власть сопровождает меня каждый день, словно тень при солнце. Она приходит в виде поручений, печатей, подписей, решений, прошений о милости и просьб о наказании; приходит в голосах тех, кто надеется на мой совет, и тех, кто желает моего приговора. Я видел, как власть рождает порядок, и видел, как она влечет к себе сердца, которые любят распоряжаться. Я слишком долго находился близ престола и близ алтаря, и потому знаю: святыня легко становится орудием в руках человека, когда он привыкает считать правление своим уделом, а службу – своим правом. Тогда слово о Боге превращается в печать, печать превращается в меч, и совесть умолкает.

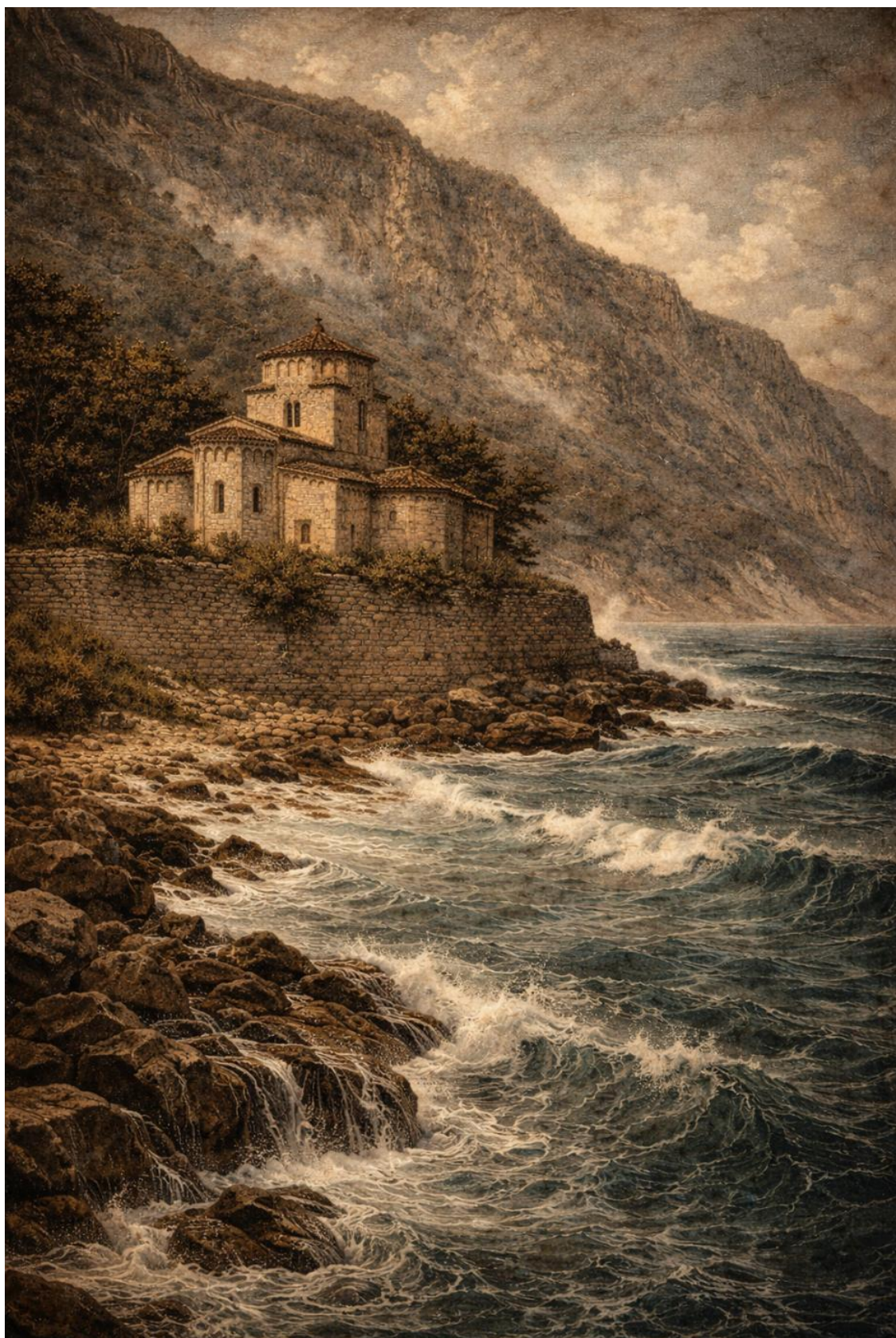
Страх же – советник куда более коварный, ибо он редко называет себя собственным именем. Он живет в торопливости, в жажде скорого решения, в стремлении к безупречности, в которой уже нет милости; он царствует в обычае искать виновного, чтобы мир снова

казался простым и послушным. Я видел, как страх надевает благочестивое одеяние, говорит правильными формулами, ссылается на ревность и порядок, а внутри несет дрожь, из которой быстро рождается жесткость. Человек, ведомый страхом, просит тишины, и вместе с тем приносит раздоры, потому что желает покоя без терпения и послушания без смирения.

Потому я держу в руках третье слово – о мудрости. Она требуется мне самому превыше всех наград, и требуется всякому, кто будет продолжать дела, оставленные мною. Различение показывает, где служение питается чистотой намерения, где его подменяет самолюбие; где суровость укрепляет общину, а где она ломает ее; где ревность по вере рождается из любви к истине, где она становится стремлением властвовать над сердцами. Я оставляю это слово как ключ к собственным решениям, чтобы братья умели открывать в себе то, что закрывается удобными оправданиями. Пусть читающий понимает: сие писание родилось для того, чтобы разобрать внутренний ход падения, когда человек подходит к святыне слишком близко и начинает приписывать себе то, что принадлежит одному Богу».

Археолог поднял глаза от листов и снова увидел пустой центральный наос, темноту в капеллах, следы времени на камнях пола и стен. Землетрясение оставило здесь трещины и перекосы, и ученые описывают эти повреждения как часть общей травмы Неаполя, где пострадали и другие крупные храмы. При этом самая сильная трещина оказалась в другом месте – в человеческой истории. Записка пережила века, пережила перестройки и запустение, дождалась реставраторов и света прожектора, потому что ее автор писал о том, что возвращается снова и снова: о власти, которая ищет оправданий, о страхе, который требует жертв, и о мудрости, которая дает человеку шанс остаться человеком даже тогда, когда мир погрязает в безумии.

Далее будет рассказ о его дороге, о его служении и о том, как эти три рычага управляют жизнью, когда судьба или Бог надолго помещает человека возле тронов, возле адских врат и подле алтаря.



Часть I. Анкона и Портоново (1274–1290)

1. Дом купца

Мое имя – Агостино Трионфи, я – смиренный монах ордена святого Августина, проповедник, писатель и экзорцист по благословению Его Святейшества папы Иоанна XXII. Я родился в Анконе, городе на адриатическом побережье северо-восточной Италии, где море находится во главе всякого дела, и даже когда в доме закрыты ставни, соль все равно находит щель и ложится на язык. Город наш раскинулся на склонах, словно на каменных ступенях; узкие улицы то поднимают тебя к ветру, то внезапно бросают вниз, к гавани, где смола, мокрая пенька и рыба смешаны в один терпкий запах, который запоминается крепче молитвы. Я с детства знал: здесь судьба приходит к людям чаще всего по воде.

Я родился в 1274 году, в самый разгар августовского зноя, когда воздух над Анконой дрожал от марева, а море казалось расплавленным свинцом. Был день памяти великого епископа Гиппонского – двадцать восьмое августа. Матушка всегда говорила, что первый мой крик совпал с колокольным звоном к вечерне. Возможно, именно поэтому имя Августин стало для меня тесной одеждой, в которую мой разум вращал десятилетиями, пока не стал соответствовать крою великого предшественника.

Моя семья была не очень знатной, но известной и состоятельной, сколотившей свои сбережения на торговле с заморскими странами. Позже моему отцу даже были присвоены титулы дворянина при папском дворе. Наш городской дом был из тех, в которых порядки были крепче, чем камень стен. Центр всего дома – Комната счета – имела свой особый дух: тяжелые книги, стол, где песок подсушивает чернила, узкие полосы пергамента, восковые печати, шнуры, которыми перевязывают письма, и та строгая тишина, в которой слышно, как перо царапает бумагу. Я еще не понимал всех чисел, однако видел, что именно число может повелевать людьми: оно сурово требует ответа, оно связывает людей на расстоянии, оно приносит в дом радость и тревогу одним и тем же движением руки.

Отец мой, Бенедетто Трионфи, весьма известный в наших местах человек, часто был в отъезде по коммерческим и политическим делам. Он вел торговлю с венецианцами, а также – участвовал в интригах на стороне Папской области, договариваясь, а иногда – и покупая новых союзников. В доме говорили о нем так, как говорят о человеке, который присутствует не телом, но делом: в оставленных указаниях, в письмах, в сроках, в ожидании прибытия судна. Иногда приходили вести, и воздух менялся враз: кто-то начинал торопиться, кто-то тихо ругался, кто-то молился, хотя внешне этого мог и не показывать. Я рано понял, что торговля – это промысел надежды, и что надежда, когда ей тесно, легко становится страхом.

Матушка моя, Джиневра Бомпиани, держала домохозяйство так, что всякое ожидание становилось терпимым. Она была заботлива, и ее забота не была суетливой; каждое дело у нее имело свое место и свой час. Ее шаги по дому были ровны; голос ее звучал мягко, при этом в нем ощущалась непреклонная власть хозяйки, которая отвечает за людей и за честь своего имени. Мне казалось, что она умеет превращать порядок в особый вид молитвы: застелить стол, запереть кладовую, проверить свечи и масло в лампаде – и все это совершается спокойно, без лишних слов, как долг, который не нуждается в свидетелях.

Я был младшим из троих братьев – самый старший – Джакомо – готовился унаследовать дело отца, и, когда я еще был совсем маленьким, он помогал вести учет, а позже – и стал плавать с отцом в экспедиции. Средний – Маттео – всегда был сильно болезненным, на него было обращено много внимания и заботы, что давало мне относительную свободу.

Я часто бегал из дома в город вместе с другими детьми, которым также было тесно в богатстве и в надзоре. Гавань притягивала меня сильнее всего: там, под ветром, люди говорили на разных наречиях, и в каждом слышалась своя история. Я любил стоять у высокой белой Арки ди Траяно у воды, под которой проходили те, кто входил в порт: мрамор там всегда был прохладен, и казалось, что сам камень хранит память о былых временах, когда мир был шире, чем пределы одной жизни. Потом я поднимался выше, туда, где была портовая таможня, и видел, как камень дворца подеста хранит в себе суровую собранность: люди входили туда с лицами торговцев, а выходили – с лицами судей.

Еще выше, на холме, возносится собор, и туда я тянулся, когда сердце уставало от крика пристани. Под сводами по-другому звучат шаги, и воздух там пахнет воском и дымом ладана; свет ложится на камень так, будто сам день смиряется во славу Господа. Я любил смотреть на море сверху, оттуда корабли кажутся меньше, шум становится тише, и человеку легче вспомнить, что он создан для большего, чем споры о ценах и товарах.

В детстве рядом со мной часто был священник – отец Джованни. Он заменял мне Бенедетто, умел слушать, умел ждать, умел сказать в нужный момент подходящее короткое слово, которое затем надолго оставалось в памяти. Он учил меня чтению и молитве так, что я начинал понимать: благочестие держится не на эмоциональном порыве, а на привычке сердца. Когда во мне поднималась детская гордость, он возвращал меня к порядку одним взглядом, и этот взгляд был строже розог.

Летом мы проводили много времени в нашей пригородной усадьбе, и оттуда тенистая каменная тропа вела к Портоново. Я до сих пор вижу, как белая церковь Санта-Мария-ди-Портоново стоит у моря, прижатая к склону, словно сама природа выпросила у людей молитву, застывшую в камне. Там тишина совсем иная, чем в городе: в ней слышен прибой, слышны неумолкающие и оглушительные цикады, но, несмотря на это, слышно и собственное дыхание. Я много бродил по прибрежным холмам, смотрел на сосны, на свет, который меняется от ветра, и чувствовал в этом порядок, который не нуждается в человеческих записях. В такие часы во мне рождалась тонкая, почти болезненная благодарность, и вместе с благодарностью – желание быть чище, ближе к Богу, чем я был вчера.

Я говорю об этом теперь потому, что моя будущая дорога началась там, где мальчик из богатого дома учился различать два рода управления. Один – утверждает печатью и числом, и он нужен, чтобы дома, города и страны стояли. Другой же обитает внутри самого сердца, он не требует громких знаков; он укрепляет человека, когда вокруг меняется ветер и когда письмо с моря задерживается дольше обычного. Анкона дала мне и то и другое: шум гавани и прохладу камня под сводами; разговоры о дальних берегах и молитву, которая не зависит от погоды.

Детство в Анконе научило меня видеть мир в симфонии камня и вод: оба они требуют терпения и ответственности. Родной отец – Бенедетто – давал дому движение, Джиневра придавала дому устойчивость, а отец Джованни привил мне внутреннюю строгость, без которой благочестие быстро выдохлось бы. Город приучил меня к расчетам и к ответственности, Портоново взрастило благодарность и собранность сердца. Так рождалась моя ранняя религиозность: она взрасталась из созерцания и из дисциплины, из моря и из городских улиц.

2. Дорога к Белому камню

В те годы, когда тело уже взрослеет, а голос еще не укрепился, я стал уходить из нашего двора все дальше и все чаще. Пригородная усадьба давала мне простое богатство – тень, воду, запах сада, твердость и надежность камня под ладонью, когда опираешься на стену и смотришь в сторону моря. Оттуда начиналась тропа к Портоново: сперва меж кустов и виноградных рядов, потом меж сосен, где смола на солнце дышит густо, и где ветер приносит соль раньше, чем открывается вид на бухту. Я называл это место «белым камнем», потому что там сама церковь словно вырезана из света: ее стены, выбеленные временем и солью, стоят у склона так, как стоят рыцари, которые выбрали себе один удел и придерживаются его до конца.

Я ходил туда один и с отцом Джованни, и порой с людьми из дома, когда матери хотелось знать, где я бываю и кто меня видит. Матушка не ограничивала меня насильно, но она словно связывала меня своим вниманием; ее забота умела следить без подозрения. Бенедетто в те годы все так же был часто в море и в дороге, и потому дорога к Портоново стала для меня еще и дорогой к мужскому порядку, который живет рядом и воспитывает верность себе и твердость характера.

В аббатстве меня приняли без лишней любезности. Это оказалось честнее всякой ласки: бенедиктинцы смотрели на меня так, как смотрят на человека, которому предстоит научиться быть внутри своего слова. Их жизнь была ровна, как линия на хорошо натянутом шнуре: звон, псалом, труд, пища, снова звон. Камень под ногами в храме всегда прохладен, даже летом, и от этого легко вспоминается собственная горячность; голос в хоре требует меры, и привычка к мере входит в грудь вместе с воздухом. Я наблюдал за ними сначала как за ремесленниками молитвы, затем как за людьми, которым дозволено быть свободными именно потому, что они связали себя правилом.

В юности слово «правило» для многих выглядит как тюремная ограда. Для меня же оно стало звучать как простор. Там, где день разрывается прихотями, человек живет лишь короткими порывами и быстро истощается; там же, где день имеет свой порядок, в человеке сохраняется сила. Я видел, как брат, отвечающий за сад, выходит к грядкам без раздражения и без лени; как другой, переписывающий книги, бережет свет и чернила так, будто бережет собственную совесть; как третий встречает путника у двери без суеты, потому что гостеприимство у них имеет свою историю и свой чин. И постепенно я начал понимать: свобода редко приходит как подарок, она чаще вырабатывается как навык.

В те же годы я много ходил по холмам Конеро. Я любил подниматься туда, где сосны растут у самого обрыва, и море открывается сразу, без подготовки и промедления. Там даже ветер иной: он испытывает, дерзит, провоцирует. Я часами глядел на волны, на птиц, на свет, который меняется в течение часа, и размышлял о том, что создание Божие говорит о Творце громче любых человеческих речей. Листья, камни, морская пена, игра света и тени – все имеет свой характер и свой удел. Когда ум ребенка касается этого, ему становится тесно в пустых разговорах, и он начинает искать смысл там, где обычные люди даже не пытаются наблюдать.

Однажды, когда мне исполнилось лет двенадцать, отец Джованни принес мне недавно вышедшую книгу Эджидио Романо (Эгидия Римского) «*О правлении государей*». Он подал ее очень спокойно, даже буднично, лишь сказал, что разуму полезно учиться поддерживать порядок в мыслях так же строго, как руке – держать перо. Я читал с трудом, беспокойно, как читают юнцы: то спешил, то возвращался, то сердился на себя за непонимание. При этом в этих страницах было что-то сродное монастырскому строю: мысль должна идти ступенями, и каждая ступень обязана выдержать вес следующей. В книге говорилось о правлении и о том, как власть в человеке должна быть собрана, чтобы внешнее управление не превращалось в произвол. Эгидий создал этот трактат по просьбе короля Франции Филиппа III Смелого для его сына

– будущего короля Филиппа IV Красивого. Книга стала своеобразным «зеркалом» (наставлением), по которому воспитывался тот самый монарх, который позже вступит в жесточайший конфликт с папой Бонифацием VIII. Мне тогда казалось, что это речь о князьях и городах, но на деле речь шла о самом человеческом сердце.

Мой первый мистический опыт, который я позже стал называть «видением Света», также случился в церкви Портоново. Вечернее служение уже близилось к концу; свечи горели плавным танцем, и море за стенами шумело так, будто участвовало в хоре, отвечало на псалом. Я стоял на своем месте, уставший от дороги и от бурь взросления, которые тогда казались мне лишним и непосильным бременем, когда вдруг все вокруг сделалось яснее, четче, пронзительнее, чем обычно. Этот свет не был похож на солнечный луч, который режет пыль в воздухе; он был похож на Присутствие, на нечто настоящее, которое входит в душу без приглашения и без стука. В ту минуту я увидел внутренним зрением, как Силы, которые зовутся Небесными, стоят в своем священном строю, и как вокруг них кружит и давит кромешная тьма, жадная до рассеяния, до страсти и до страха. Это было короткое переживание, но при этом оно оставило во мне долгий след: я понял, что борьба проходит не только в душе, она – и рядом с человеком, так же близко, как его дыхание, и что она касается прежде всего внутренней честности.

После того света, что однажды коснулся меня в каменной прохладе Портоново, я стал иначе понимать рост души. Он явился мне не как ровная лестница, по коей поднимаются без помехи, и не как расширение дыхания, которое само собой делается шире, – он явился как брань. Слово это многим кажется тяжким, однако я увидел, что всякое преобразование Силы встречает сопротивление; всякое движение, стремящееся изменить структуру мира, вызывает встречное усилие, и оттого путь идет с напряжением, с толчками, со спорами, как море идет против ветра.

И то, что совершается в душе, имеет свой образ и в великом устройении мира. Раздвоение, на котором держится движение, открывается живому сознанию не как сухое рассуждение, а как противостояние: одна часть Сил стремится сгущать, облекать, удерживать в плотности; другая часть стремится разряжать, освобождать, возвращать к тонкости. Говоря иначе, я увидел войну между тем, что приковывает человека к земле, и тем, что зовет его выше земли.

Плотный мир, в котором мы живем, находится на переломе Потока. Здесь нисходящее течение, что ведет дух к тяжести и оформлению, встречается с началом восходящего, что зовет к очищению и подъему. Оттого эта нижняя точка удобна тем, кто обитает вне Потока и питается от отбора: им легко здесь брать, где все уязвимо, где уставшая плоть быстрее отдает свое. Вместе с тем сюда же приковано внимание тех, кто хранит цельность течения, поскольку здесь слабое место, где и малое повреждение разрастается великою бедой.

И брань эта идет повсюду – в каждом сердце, в каждом зерне материи, в каждом дыхании. В ней стоят Силы, которые жаждут сохранить сознание и среду для его возрастания, и Силы, которые ищут потребить, ослабить, сделать добычей. Одних называют ангелами, понеже их трудами поддерживается строй и сохраняется предел. Иных же зовут демонами, понеже их виною среда теряет способность к возрастанию, а живое истощается до пустоты.

Сознание, вступившее на путь, встречает всех. Оно цепляет ангельские чины, поскольку движением своим тревожит установленное, оно привлекает демонов, поскольку в нем есть пища и жар, оно сталкивается с духами и гениями мест, поскольку всякая сила ревнует о своем. И я понял: редкая из этих сил желает самого нашего восхождения. У ангельских сил – забота о порядке; у демонов – жадность к изъятию; у духов – свое малое владычество. Так что человек, который думает, будто мир вокруг него сложится в помощь одному его росту, обманывает себя.

Единственный истинный союзник для такого сознания – другое сознание, которому дан тот же голод истины: спутник, учитель, проводник. С ним можно удержать верность, когда ум мутнеет, и сердце слабеет, и тьма предлагает легкий путь. В одиночестве же человек слишком легко принимает собственную гордость за откровение, а собственный страх – за осторожность.

И еще я уразумел: нейтральность для растущей души – слово пустое. Сам факт движения рождает разность, вызывает напряжение, требует участия. Отступление от брани остается участием; бегство остается участием; чаще всего такие уходы кончаются уступкой и тайной переменою стороны, когда человек уже сам не различает, кого он кормит своим согласием. Выход же должен быть иной: подняться выше раздвоения, собрать разнесенное, пройти сквозь двурогий знак, и достигнуть целостности, где противостояние теряет власть над сердцем.

На то, по большому счету, и направлен труд монаха. Он ведет свои брани, ибо видит: лишь так приходит прекращение войны. Всякая его стойкость – это попытка вернуть миру мир, начав с малого: с собственной верности, с собственного света, который однажды был мне показан и который с тех пор требует участия.

После того случая я стал все чаще задерживаться в аббатстве. Бенедиктинцы не расспрашивали меня о видении, но они учили меня тому, что действует сильнее всяких рассказов: класть поклоны, когда следует; молчать, когда следует; делать свое дело в сосредоточении и порядке ума и тела. Отец Джованни говорил со мной осторожно: он не подогревал во мне горячность, он берег меня от тщеславия, которое любит примерять святость как праздничную одежду. И все же я знал: дорога к Белому камню стала для меня дорогой к тому, что внутри меня требовало особой, богоугодной и строгой жизни.

Портоново научило меня видеть в правилах – простор, который дается человеку в постоянстве. Холмы и море сделали для меня природу книгой, где каждое создание хранит свои пределы и тем самым славит Творца. Чтение Эгидия Римского приучило мысль к движению по ступеням понимания и к ответственности за выводы. А Видение Света стало внутренним маяком: мир ведет свою невидимую брань, и человек участвует в ней своими делами, своей честностью, праведностью и собранностью сердца. Именно потому я и проводил много времени у бенедиктинцев, их жизнь показала мне свободу, которая держится на внутренней, не навязанной, но осознанной дисциплине.

3. Странные воспоминания

С тех пор, как я стал чаще уходить к белому камню Портоново, во мне усилилось одно давнее смятение, которое прежде всплывало где-то на краю внимания, словно неясная тень у стены. Оно пришло ко мне еще в детстве, задолго до того, как я выучил первые латинские слова и услышал от отца Джованни стройное толкование Писания. Временами, среди простых дел, когда мать распоряжалась в доме и когда в комнате счета шуршали бумаги, меня вдруг отчетливо обдавало чужим воздухом. Я стоял здесь, в Анконе, и вместе с тем видел другое место так ясно, будто оно было перед глазами.

Первое из этих видений всегда начиналось одинаково: сухой жар, влажный и душный, и пространство, выстроенное посреди пустынных земель, рядом с большой рекой. Там поднимались ступенчатые башни, широкие и тяжелые, словно гора, сложенная руками; вокруг тянулись каналы, и вода шла по ним с ленивой силой, питая поля, которые жили лишь силою этой воды. Я видел рынки, где лежали плоды, каких у нас почти не бывает, и особенно часто – финики, темные и липкие, как будто солнце запекло в них свой огонь. В этих картинах всегда присутствовала странная уверенность, будто я знаю дороги и тропки между каналами и хорошо помню запах пыли, речной воды и сладких плодов. Когда видение отступало, я оставался с чувством чужой памяти, словно с привкусом на языке, который долго не уходит.

Но бывало и второе видение, оно приходило чаще ночью, когда только свет лампы освещал комнату, а в доме стихали шаги. Я просыпался, и игра теней вокруг казалась глубже, чем должна быть в комнате. И тогда передо мною открывались совсем другие пустынные земли, каменные и мертвые, где не видно ни дома, ни дерева, ни дороги, и где сильный ветер будто режет грудь. Я шел там долго, не ведая, куда иду, и в этих блужданиях всегда было ощущение погони. Иногда я видел существ, которым нет имени в нашем мире, образы их плыли и менялись, как дым, при этом страх от них был плотен, как удар. Они словно знали меня, словно считали меня добычей, и я бежал, прижимая к груди невидимый крест, которого у меня тогда еще не было.

И посреди этих мрачных картин чаще других являлись два имени, которые я не от кого не слышал, при этом они будто сами врезались в память. Один враг являлся мне в облике прекрасного ангела: светлая одежда, спокойное лицо, мягкий голос, в котором слышалось скрытое коварство. Он называл себя Сидонай, и в то же время в душе моей поднималось другое имя, знакомое по книге Товита, – Асмодей, убийца чистоты и мира в сердце. Я видел, как его красота служит сетью, и как за улыбкой стоит холодная воля. Но еще опаснее казалась другая, словно хорошо знакомая, женщина, с именем величественным и страшным: Лилит (позже я услышал, что так евреи именуют ночной соблазн). Ее присутствие я всегда ощущал еще прежде, чем видел: будто воздух вокруг меня становился тяжелым, словно сама темнота начинала искать меня, перебирая лазейки и тропы. В этих видениях я все время прятался, уходил, скрывался за камнями и складками скальных выступов, и одновременно понимал, что это бегство никогда не завершится само собой.

Я рос в доме, где вера была неотделима от самого дыхания, и потому мысли о переселении душ казались мне речами греков и язычников, которые любят спорить о том, что не дано им знать. В наших краях такие рассуждения называли опасными, потому что они уводят человека от покаяния и от надежды на воскресение. Соответственно, я и принимал эти картины за видения, за наваждения, за фантазии, которые приходят ребенку, когда он слишком долго всматривается в огонь или в море. Но при этом сердце не обманывалось: в первом видении было что-то спокойное и древнее, во втором – присутствовала злобная воля, которая умеет ждать.

Я поведал о том отцу Джованни лишь спустя много дней. Долго молчал из стыда, потому что мальчик всегда боится показаться слабым; и еще потому, что я не знал, как произнести такие рассказы, не делая их похожими на басни. Мы говорили у стены, где слышен прибой, и я заметил, как он слушает: без поспешного осуждения, при этом и без любопытства. Он велел мне повторить имена, и когда я сказал “Асмодей”, его лицо стало строже. Он напомнил мне, что демон способен являться в виде света, потому что тьма любит прятаться за видимостью благочестия и красоты; и велел мне хранить сердце в собранности, потому что воображение бывает дверью, сквозь которую входят искушения. О Лилит он говорил осторожно, словно имя это само по себе уже несет в себе яд; он сказал, что такие образы тянутся к тем, кто имеет склонность к молитве и к чистоте, потому что у них есть что отнять.

Потом он сказал то, что я запомнил сильнее прочих слов: если Господь допускает человеку видеть тень прежде света, то Он желает, чтобы человек избрал свет сознательно; обычай здесь не должен вести человека вместо сердца. Он не обещал мне скорого покоя, велел мне держаться Церкви, как крепкой стены, и учиться различению, как воин учится держать строй. Он говорил о молитве, о посте, о чтении, об исповеди, и в этих святых средствах он видел надежную твердыню, ибо защита от наваждений всегда начинается с послушания и терпения.

С той поры я иначе смотрел на ночные страхи: перестал видеть в них тайный знак избранности, перестал льстить воображению. Я принимал их как испытание, требующее службы, понеже служба не дает душе потеряться среди искушений нечистого. И когда я снова шел к белому камню Портоново, и когда свет в церкви ложился на стены своими бликами, я понимал: этот свет – для того, чтобы человек учился быть крепким сердцем, когда тьма приходит в обличье красоты. Так эти видения стали еще одной причиной, по которой я начал мыслить свой путь как службу и брань за свет; частная мечта одного малого человека перестала быть для меня мерой.

4. Два языка

В те годы, когда мне минуло четырнадцать и пятнадцать, Анкона стала для меня школою двух речей, и обе требовали от человека особой верности. Город наш жил морем так, как тело живет дыханием: гавань кормила, гавань пугала, гавань приносила слухи, вести, прибыль, болезни и похороны. Утро начиналось с крика чаек и скрипа веревок; по мостовым катили бочки, на плечах несли тюки, у воды стояли рыбаки с мокрыми сетями, и рыба, еще сырая и блестящая, лежала в корзинах рядом с солью и водорослями. Рядом проходили люди суконных рядов, менялы, носильщики, писцы, мастера, которые чинили паруса и конопатили доски. Пахло смолой, мокрой пенькой, вином, чесноком, дымом кухонь, и этим запахом город удерживал тебя крепче всякой родовой привязанности.

Я был сыном богатого дома, и потому я не таскал тюки, однако меня с раннего времени учили оценивать тюки, как видят их люди торговли: по весу, по стоимости, по рискам, по срокам. В доме всегда витала воля Бенедетто, и даже в его отсутствие всякое слово о товаре производилось так, словно он стоит рядом и слушает. Управляющий показывал мне письма, приходившие с моря, и в них было больше боязней, чем принято признавать: страх задержки, страх повреждения груза, страх дурной молвы, которая портит кредит вернее шторма. Я учился бессловесно стоять рядом, пока старшие обсуждают, и эта школа молчания была тяжела. Внутри хотелось бежать к холмам, к тени сосен и к белому камню Портоново, однако дом требовал, чтобы я понимал язык порта.

Я стал замечать, как этот язык строится. Он основан на счете и именовании, он любит точность и запись, он не терпит лишнего. Люди денег говорят коротко, но каждое их слово имеет свою цену. Когда они приветствуют, это приветствие часто означает договоренность; когда они улыбаются, улыбка может скрывать осторожность; когда они обещают, обещание всегда сопровождается мыслью о выгоде. Я смотрел на все это и ощущал, что в этом есть своя правда: мир плотный и тяжелый, он требует порядка, и кто недооценивает этот порядок, тот вскоре отдаст свое имущество на милость чужой воли.

При этом я все чаще искал иных речей. Их я находил у отца Джованни, в дороге на холм к собору, в пути к Портоново, в тишине после службы, когда свет от свечей дрожит и не дает внешнему зрению обманывать сердце. Отец Джованни говорил со мной так, как говорят с тем, кому предстоит отвечать за души. Он учил меня латыни ради верного понимания, чтобы слово Писания входило в ум без перевода, как клинок входит в ножны, и чтобы смысл не терялся в повадках лени. Я помню, как он заставлял меня повторять фразы медленно, пока язык не привыкал к их строю, и пока я не начинал слышать в этих строках дыхание иной силы.

Мы читали Писание, и я все чаще задерживался на тех местах, где говорится о борьбе Сил. После моего прежнего переживания в Портоново эта тема уже не была для меня отвлеченной. Я видел в городе многое, что напоминало о ней: как легко человек делается добычей гнева или страха, как быстро жадность оправдывает себя разумом, как зависть облекает себя в одежды справедливости. В гавани это видно особенно ясно: там человек всегда живет рядом с краем, и потому внутренние страсти быстро и легко выступают наружу, словно соль на морском камне. И я понимал: война под небесами проходит не где-то за облаками, она проходит сквозь человеческие поступки, сквозь выборы, сквозь слова, сказанные в жару торга или в холоде обиды.

Отец Джованни однажды начал объяснять мне Откровение. Это каноническая книга Нового Завета с высоким авторитетом, имеющая статус боговдохновенного пророчества, но ее толкование в нашей Церкви остается открытым, особенно в части эсхатологических пророчеств, где важно находить баланс между буквальным смыслом и символическим, и Церковь не устанавливает жестких догм о тысячелетнем царстве, а фокусируется на его роли в освящении

и надежде на окончательную победу Христа. В словах священника я слышал рассказ о живых образах: зверь и печать, труба и чаша, град и пламень, море, которое становится горьким, и звезды, падающие на землю. Он показывал мне, что эти образы касаются не только конца времен, они касаются и устройства души, ибо всякий человек носит в себе свой малый мир, и в этом мире тоже звучат ангельские трубы, и в этом мире тоже ставятся демонические печати. Я слушал, и мне становилось страшно и светло одновременно: страшно от того, как близко тьма может подступать, светло от того, что свет не скрывается и не стыдится своей силы.

В те месяцы во мне созревало внутреннее обещание. Я еще не называл его словом “обет”, мне и в голову не приходило присваивать себе монашеское достоинство заранее. Однако я начал замечать, что некоторые вещи уже не даются мне без внутреннего борения: пустая похвальба, грубый смех над чужой бедой, азарт спорить ради победы. Я стал ловить себя на том, что ищу тишины, чтобы сверить сердце, и что мне легче удержать прямогу, когда я помню о молитве. В порту я видел, как люди привыкают к хитрости, и как эта повадка постепенно срастается с их лицом. Это отвращало меня, и вместе с тем учило: духовная брань начинается там, где человек перестает оправдывать себя.

Я продолжал жить жизнью богатого дома. Я носил чистую одежду, ел лучше многих, имел возможность учиться и держать книги в руках. Но при этом я все чаще думал, что богатство не освобождает от долга, оно только увеличивает его. Сын купца обязан понять людей денег, иначе он останется слабым звеном. Но сын, которому дано услышать Писание на латинском языке, обязан понять и людей молитвы, иначе он превратит веру лишь в орнамент на своих одеждах. И вот между этими двумя речами я стал искать третью – ту, которой говорит совесть.

Слова Откровения укрепляли во мне мысли о пути. Мне представлялось, что Церковь – это не только стены и службы, и даже не только учение; она – великое воинство Божие, стоящее на страже света, и в этом воинстве есть места для тех, кто несет с собою меч не железный, а духовный. Я видел в отце Джованни пример такой стойкости: он не кричал, он не пугал, он всегда шел и стоял ровно, и оттого его слово имело большой вес. Я начал желать и себе подобной стойкости. И если меня спрашивали тогда, чего я хочу, я отвечал бы не о море и не о торговле, я хотел быть человеком, который не отдает душу на милость тьме, когда приходит час испытания.

Так еще в юности я и выучил языки человеческих обществ, и они оба требовали правды: торговый учил меня ответственности за слово и цену, монастырский учил меня ответственности за сердце и свет. Жизнь порта показала мне, как близко к человеку стоят гнев и алчность, и как легко они отравляют душу, ведя ее к гибели вечной. Латынь и Писание дали мне глубину понимания, а Откровение укрепило во мне ощущение невидимой брани, которая проходит сквозь каждую судьбу. Так мое внутреннее обещание созревало, и постепенно я начал узнавать в себе неутолимое желание быть духовным воином в лоне Церкви.

5. Дядя Гульельмо

О моем дяде Гульельмо Бомпиани в Анконе знали все, и оттого в нашем доме его имя звучало особенно тонко: оно было одновременно поводом для напряжения и предметом гордости, а гордость в таких вещах быстро обращается грехом. Он был родным братом моей матери, человеком знатного рода, при этом его путь пошел в сторону, которую родня моего отца принимала с трудом. Им казалось странным, что наследник богатого и знатного рода, папский дворянин выбрал нищенствующую жизнь, словно он отверг богатство; вместе с ним – и сам порядок мира. Говорили о нем с уважением вперемишку с подозрением, и эта подозрительность проявлялась как семейная уязвленность: хотя люди и любят святость, но лишь пока она где-то далеко; когда же она вдруг оказывается рядом, или еще хуже – в твоей семье, – она предьявляет свой стандарты, она становится неудобной или даже опасной.

В детстве я видел дядю редко. Внутреннее устройство семьи ставило между нами прочную преграду: мать берегла его имя, отец – его не порицал вслух, но при этом в доме отцовских родственников всякий раз, когда он упоминался, лица становились строже и напряженнее. Я тогда еще не умел рассуждать о причинах, зато слышал в голосах то, что позже стал узнавать и в иных делах: когда человек выбирает бедность ради Бога, окружающие начинают искать в этом скрытую гордыню, словно им легче обвинить, чем признать чужую ценность.

Жил он в верхней части города, в Каподимонте, на холме, который словно орел присматривает за портом. Там ветер сильнее, суше, и приходит раньше, чем внизу, воздух кажется чище, хотя при этом шум гавани все равно поднимается вверх, только превращается в далекое и словно уже чужое гудение, как будто море говорит вполголоса, а рынок уже лишается своего господства. Я помню узкие подъемы, камень под подошвой, белесые стены, смолистый запах сосен, которые словно висят над обрывами. Когда я поднимался туда с матерью или с о. Джованни, мне казалось, что город внизу становится меньше, и вместе с ним уменьшаются человеческие страсти, которые внизу выглядели такими важными.

Монастырь отшельников святого Августина тогда был очень скромнен. Ныне люди любят большие фасады и новые порталы, а тогда все отличалось суровой простотой: небольшая церковь, тесные жилые помещения, двор, где камень нагревается днем и остывает ночью. В этой обители не искали удобств, там искали Бога и Его мудрости. О дяде говорили, что он взял на себя строгий затвор, и это одновременно вызывало уважение и страх. Он еще в молодости прослыл блаженным, проводил почти все время в келье, выходя только к общим молитвам, иногда являясь людям со словами проповеди, когда настоятель считал слова нужным. Его аскеза была настолько суровой, что он стал объектом почитания еще при жизни. Горожане видели в нем живого святого, ходатая перед Богом за город, который постоянно страдал то от морских бурь, то от политических неурядиц. Для мальчика это было почти непостижимо: родной человек живет рядом, при этом словно скрыт за дверью, которую нельзя открывать по родству или по любопытству.

Однажды я увидел его совсем близко. Это было в храме, в час, когда свечи уже горели к вечерне, и воздух стоял недвижно, пропитанный запахом воска и ладана. Он был худ, лицо его казалось высеченным из той же строгости, что и монастырский камень, и в его движениях не было суеты. И хотя он был еще довольно молод, в нем чувствовался опыт и умудренность старика. Взгляд его не искал людей, он был обращен внутрь, и оттого, когда он на миг поднял глаза, мне стало неловко, будто я вошел туда, куда входить без разрешения стыдно. Мне тогда хотелось, чтобы он улыбнулся по-родственному, чтобы признал во мне свои кровь и дом. Этого не случилось. Он прошел мимо, и в этом, наверное, и не было холода или презрения, но была иная верность, иная тяга, в которой личное уступает месту большему.

Мать моя переживала эти события по-своему. Она говорила о брате редко, при этом с таким уважением, почти с благоговением, которое не требует особых слов, а выражается в особых интонациях. Иногда, когда в городе случались беды или приходили вести о бурях и погибших, она вспоминала, что в Каподимонте есть человек, который денно и нощно стоит в молитве за Анкону, и от этого ее лицо делалось спокойнее. В такие минуты я видел, как семейная память сама сливается с молитвой, и как молитва становится оплотом и защитой.

Родня отца, напротив, держалась настороженно. Им казалось, что подобные примеры разрушают “правильную” ткань жизни: если один из знатных может отказаться от имущества и положения, то что удержит остальных в повиновении обычаям? Говорили, что бедность – дело для простых, а благородным следует служить иначе. Эти речи звучали уверенно, но при этом в них чувствовалась и некая тревога. Я слушал и учился различать: в городе часто бояться не бедности, а свободы, которая выходит за пределы привычных порядков.

Позднее, уже будучи старше, я понял, почему дядя Гульельмо казался людям “отшельником внутри города”. Его уединение скрывалось не за стенами мира, оно жило прямо рядом с торговой площадью, с портом, с криками рыбаков и купцов. Он показал Анконе, что можно жить в самой гуще человеческого шума и хранить в себе Пустынь, где человек отвечает только перед самим Богом, без свидетелей. Оттого его почитали еще при жизни, оттого же его опасались те, кто привык измерять достоинство монетой и происхождением.

Когда он умер, уже после моего ухода из родного города, говорили о скорби и о народном стечении. Для Анконы такие смерти всегда знаменательны: море забирает многих, при этом оно забирает тела; смерть праведника отнимает глас, который звучал над городом, и оттого кажется утратой более тяжелой. Практически сразу после его смерти начали распространяться слухи о чудесах, происходящих у его гроба. Затем его почитание было официально подтверждено и святой Церковью (и культ признан «*ab immemorabili*» – с незапамятных времен). Я носил эту весть в сердце как суд и эталон: коль человек из нашего рода смог так верно ответить на зов Божий, то и мне нельзя было довольствоваться половиною.

Для Анконы Гульельмо Бомпиани был образом «нового святого» – образованного, благородного по происхождению, но выбравшего нищенствующий орден и служение Богу путем самоотречения. Его жизнь резко контрастировала с богатством Анконы как морской республики. И потому, когда пришел час моего собственного выбора, образ дяди стал одним из внутренних камней моего пути. Я не был его близким учеником, я не держал его руку и не слышал от него долгих наставлений. Довольно было и того, что он существовал, что его жизнь сияла над портом, как священный знак. Он связал для меня кровь и орден, город и уединение, чин и духовную брань. В этом родстве я увидел особое направление: дом моей матери уже был связан с отшельниками святого Августина, и эта нить, мягкая, но вместе с тем очень крепкая, тянула меня в ту же сторону.

Гульельмо был для Анконы одновременно святым и безумным, для семьи – тайным идеалом, для меня – путеводной звездой, идеалом, который не требует близкого знакомства, чтобы влиять на совесть. Его затвор в Каподимонте показал мне святость, стоящую рядом с городским шумом, и оттого особенно строгую. Подозрение отцовской родни научило меня понимать, как мир защищается от примеров, которые делают человека свободным. Так память о дяде стала одной из причин, по которым августинский путь вошел в мою судьбу еще до того, как я научился произносить это решение вслух.

6. Путь послушника

В лето Господне 1290, когда я вступал в шестнадцатый год, море у Анконы стояло теплое и тяжелое, и ветер приносил к дому то сырость тумана, то сухую соль; я же все чаще ловил себя на том, что слышу иной зов, чем зов пристани. Дом по-прежнему жил ожиданием писем Бене-

детто, мать вела хозяйство старательно и строго, при этом сердце мое уже привыкло мерить дни по звону часов в Портоново.

Я помню тот рассвет, когда вошел в церковь у белого камня уже не как гость, но как послушник – как человек, просящий быть принятым. Камень под ногами был прохладен, свечи горели ровно, море за стенами шумело так, будто и оно несло свой молитвенный чин. Аббат сказал мало слов; так и надлежало. В такой час человек приносит волю, возлагаемую пред алтарем; его повесть о себе остается за порогом. Я произнес обещания с жаром и страхом вкупе, с решимостью, еще горячей и еще не испытанной унынием и тонкими искушениями. Когда мне дали знак общины, я почувствовал тяжесть принадлежности, которую нельзя носить беспечно.

Жизнь бенедиктинского дома была мне знакома. Она шла по уставу, как по руслу: ночная молитва, дневная, труд, чтение, снова молитва. Там было много тишины и близости Божией, и тишина имела свой вес, словно камень в монастырской ограде. Братия жила близ моря и как бы в стороне от городского гула; их уделом была земля, сад, виноградная лоза, книги, лампада, хлеб, редкий гость. Я видел красоту этой жизни; она казалась древней, как сама Церковь, и верной, как храмовый порог, который принимает шаги тысячи раз и сохраняет свою прочность.

При этом внутри меня поднималось беспокойство, и я метался в сомнениях: верен ли мой выбор, на своем ли я месте. Предо мною все чаще вставали картины городской жизни: гавань, где бедняк ругается с менялой; дом, где женщина скрывает слезы, пока муж в море; юноша, которого тянет в порок, понеже в нем много силы и мало направления; старик, который боится смерти и потому хватается за суету. Я вспоминал слова Откровения, которые отец Джованни толковал мне и по сей день, и понимал: брань Сил касается не одних пустынников. Она проходит по площадям, сквозь суды, по торгам, по домам, где спорят о наследстве, и через лавки, где клянутся именем Божиим ради выгоды. В Портоново я мог молиться за мир, словно стоя на берегу его волн, а в Анконе я видел мир лицом к лицу.

Я помню день, когда в доме и в пристани заговорили о нашем земляке Джироламо Маши – о том, что он занял кафедру Петра. В разговорах купцов это было известие о власти, в разговорах монахов – известие о знаке. Я тогда еще был слишком юн, чтобы разбирать политические узоры, зато уже умел чувствовать важность примера: человек из окрестностей Асколи, из нашей земли, поднялся туда, где слово превращается в закон для целого мира. Николай IV был первым в истории папой-францисканцем. Это создавало особую атмосферу в Марка Анконитана: наша земля стала колыбелью церковной верхушки нового типа – интеллектуальной, вышедшей из нищенствующих орденов.

В те годы я часто ловил себя на странном двойном ощущении. С одной стороны, Рим казался далеким, почти непостижимым, словно высокий алтарь, который виден издалека и к которому редко допускают. С другой стороны, известие о Николае делало этот алтарь ближе, потому что между ним и нами вдруг обнаруживалась живая тропа – тропа нищенствующего ордена, тропа учености и послушания, тропа, по которой можно идти, не теряя достоинства. Я видел, как в нашей области меняется воздух: братья говорили о том, что нищенствующие ордена уже не стоят в стороне от больших дел Церкви, что их строгая школа и их дисциплина делаются новой формой церковной силы. Это входило в сознание медленно, так же, как входит соль в хлеб: сначала вкус почти неуловим, затем уже нельзя представить, что могло быть иначе.

Пересуды о понтификате Николая включали и разговоры о строительстве, о мастерах, о новых камнях, поднятых ради славы Божией. Люди называли собор в Орвието, который начали возводить, повторяли имена художников и ваятелей, говорили о великих работах, словно сама Церковь в эти годы стремилась показать, что вера способна созидать здания так же уверенно, как строить богословские крепости. Я тогда еще не видел этих мест, однако уже понимал, что власть Рима живет не только в буллах и посланиях, она проявляется в том, что люди начинают мыслить шире, чем пределы своего города, и начинают мерить время не одним урожаем, а веками.

Еще сильнее действовали рассказы о миссиях. До нас доходили вести о посланниках, которых Папа отправлял в земли, где латинское слово звучало как чужая музыка; говорили о Джованни из Монтекорвино, которого направили в Страну Синов, и о дальних дорогах, уходящих к краю мира. Для купцов это было почти сказанием о невозможном пути, для монаха – напоминанием о масштабе: Церковь мыслит целым земным кругом, и потому требует от человека иной меры ответственности. Я ловил себя на том, что эти вести делают мою собственную жизнь меньше и строже: если Рим простирает руку так далеко, значит, и мой обет, и моя будущая служба должны быть устроены так, чтобы выдержать дальнюю перспективу.

Так в образе Николая IV сошлись две линии, которые редко соединяются в юной голове без внутренней борьбы: простая, почти детская гордость за “наших” и суровое понимание церковной лестницы, на которой оступившийся падает не в грязь, а в соблазн. Я благодарил Бога за этот пример и одновременно остерегался его тени: пример может укреплять, но может и разбудить желание значительности. Соответственно, еще с ранней юности я начал учиться одному трудному делу – принимать знак как призыв к служению, удерживая сердце от тайной жажды высоты.

В те дни все чаще вспоминался мне и дядя, живущий в своем ските над городом. Мне казалось, что Анкона шумит внизу, спорит о прибыли и обиде, а где-то выше стоит человек, который хранит на себе иную тишину и молится так, будто от этого зависит дыхание всего порта. И эта мысль действовала на совесть сильнее многих слов.

Отец Джованни пришел ко мне вскоре после вступления в аббатство, и мы долго говорили у стен, где прибой перекрывает людские голоса. Он молчал, глядя на море, будто взвешивал мои слова вместе с ветром, потом сказал: «Ты принят здесь по милости Божией. При этом вижу, что дар твой иной». И он напомнил мне о братьях святого Августина, о том, как после Великого соединения весь их орден живет как мой дядя – в городах, среди народа, среди учения и споров, и как Церковь отправляет их туда, где умам требуется слово, а сердцам – утешение. Он говорил о сем как о тяжелой ноше, которую несут по послушанию: она редко дает отдых, чаще приносит утомление и суровый спрос с совести. Он напомнил мне и о том, что устав бенедиктинский оставляет человека на одном месте, а устав Августинцев требует внутренней собранности, понеже внешняя опора часто меняется: сегодня ты в хоре, завтра у постели больного, потом в пути, потом за книгой, потом в разговоре с людьми власти.

Его слова легли на уже живущее во мне. Я читал Эгидия Римского по его совету и видел, сколь строгий порядок требуется мысли, чтобы она служила Богу, а не тщеславию. Я слышал в городском гуле ту же брань, о которой говорило Откровение, только в иных одеждах. И еще во мне действовала родовая память, она показывала, что у августинцев в городе есть место для такой святости, которая стоит рядом с шумом и не растворяется в нем.

После того разговора я провел несколько ночей в молитве, и сон мой был скуден. Во мне словно противостояли две верности. Одна тянулась к белому камню, к тишине и к порядку, омытому морем, который не колеблется. Другая влекла к городу и к слову, к людям и к той невидимой брани, которая в Анконе открывалась ежедневно в лицах и поступках. И в конце концов я увидел, что Господь требует от меня движения. Свет, явленный мне некогда в Портоново, просил не одного созерцания; он направлял к труду среди людей, где свет проверяется делом.

В те дни я часто смотрел на море, гадая, станет ли оно моей единственной границей. Бенедиктинский устав сулил покой: *ora et labora*, молитва и труд под защитой древних белых камней. Это был путь тишины, путь бегства от мира в ожидании Града Божьего.

Но мир сам ломился в наши двери. Я слышал, как рушились стены крепостей Святой Земли, как горели надежды христиан на Востоке, и понимал: одних молитв в тиши кельи больше недостаточно. Град Божий на земле требовал не токмо созерцателей, но и воинов – тех, чьим оружием станет не сталь, а слово и закон.

Дядя Гульельмо однажды сказал: «Бенедиктинцы – это корни Церкви, Августино. Но корни глубоко под землей. Сейчас Церкви нужны ветви, которые поднимутся над миром, чтобы защитить его от бури».

А потому выбор Ордена еремитов святого Августина не был изменой Портоново. Это был выход из затвора на передовую. Августинцы в те годы были «интеллектуальным рыцарством» Папства. Они не запирались в аббатствах; они шли в университеты Падуи и Парижа, они стояли у престолов королей, они перекраивали саму реальность, превращая хаос веры в стройный силлогизм власти.

А посему, видя необходимость сменить просторную бенедиктинскую кукуль на строгую рясу ереmitа, стянутую кожаным поясом, я чувствовал, что сменяю посох пастуха на перо судьи. Бенедиктинцы учили меня слушать Бога; августинцы должны были научить меня заставлять мир слушать Его Наместника.

Это был переход от стабильности к экспансии. Мой разум требовал не покоя, а порядка, который можно было бы навязать самой истории. Так я переставал быть послушником у моря и становился солдатом слова, чей гарнизон был везде, где звучала латынь и действовала папская булла.

С этими мыслями я и пошел к настоятелю, и поведал ему о своем решении. Он выслушал меня спокойно. В его молчании не было уязвленной гордости; чувствовалась печаль старого дома, который отпускает, и разумение, что Церковь куда шире одного порога. Он благословил меня, и благословение сделало мне одновременно больно и чисто: боль была страданием отрыва от детства и от корней тела, чистота – понеже уход совершался по воле Божией, а не по прихоти людской.

Отец Джованни дал мне письмо к августинцам в Падую. Я помню, как он запечатал его воском, как прижал печать твердой рукой и сказал: «Сие – твой мост. Береги его как совесть». С этим свитком в рукаве я вернулся в Анкону, чтобы проститься с домом, и тогда впервые почувствовал, что человек может любить родные стены всем сердцем и уходить от них без измены.

Джиневра встретила меня молча. В тот вечер она долго и особенно старательно раскладывала на столе простые вещи, будто желала удержать меня в бытовом, чтобы сердце не разорвалось сразу. Она приготовила мне чистую дорожную одежду, положила немного хлеба и сушеных плодов, завернула их белой тканью, потом села напротив, и руки ее лежали на столе неподвижно. Я сказал ей то, что мог сказать сын: что иду служить Богу, что прошу ее благословения, что не ведаю, когда увижу ее вновь. Она подняла на меня глаза и перекрестила, и в этом движении было все: страх, гордость, материнская боль, согласие с волей Господней. Она вынула небольшой крест, который хранила в ларе, вложила мне в ладонь, и пальцы ее на миг сжались сильнее, чем следовало, словно она хотела запомнить мою руку на всю жизнь.

Бенедетто в те дни вновь был в отъезде. Его отсутствие было мне знакомым, при этом теперь оно словно резало иначе. Я сожалел, что не мог проститься с ним лицом к лицу; я простился с его местом в доме – с комнатой счета, со столом, где лежали книги, с запахом воска и кожи переплетов. Я провел ладонью по краю одной тетради и подумал, что торговый язык учил меня точности и ответственности, и этот урок не пропадет в монастыре. Я оставил матери записку, короткую и прямую, понеже в нашем доме длинные речи всегда считались слабостью.

Утром я вышел из города, пока улицы еще не наполнились криками рынка. Анкона просыпалась медленно: где-то звякала железная цепь у лавки, где-то стучал по камню деревянный башмак, где-то закричала чайка над пристанью. Я обернулся на холм с собором, на дымок над крышами, на блеск воды в гавани, и сердце мое сжалось так, будто я вырывал из себя корень. Потом я сделал шаг и больше не оглядывался, ибо слишком частый взгляд назад делает дорогу слабой.

Перед уходом я еще раз зашел в Портоново. Я хотел проститься с белым камнем, который стал мне родным. В церкви было пусто; только лампы горели таинственно, и на стенах лежал их тихий свет. Я преклонил колени и сказал Господу то, что не мог сказать людям: что боюсь, что не знаю, выдержу ли, что прошу сохранить меня от гордыни, которая любит наряжаться в благочестие, и от страха, который любит прикрываться осторожностью. Когда я вышел, море шумело как всегда, и в этом было утешение: создание Божие хранит свои обычаи даже тогда, когда человеческое сердце колеблется.

Дорога к Падуе показалась мне длинной еще до того, как я прошел первый дневной путь. Я шел решительно и печально, как человек, которому предстоит стать иным; я ведал свою судьбу и принимал ее со смирением. В голове звучали латинские строки, в памяти вставали образы Откровения, и я думал: если Церковь – воинство, то мне следует учиться стоять в строю там, где спорят умы и где городская жизнь ежедневно испытывает совесть. Я знал, что августинцы подвизаются среди стен города, что их зовут к проповеди и к учению, что их посылают из места в место; и эта подвижность сама по себе требовала крепости, которой редко довольно в уединенном доме. Я принимал это как послушание, понеже путь выбирается не по удобству сердца, а по делу, к которому человек призван.

Когда вдали, через дни, начали угадываться равнины и речные воды, и когда я впервые услышал речь севернее нашей, более резкую и быструю, я понял: Анкона осталась за спиной как первая, начальная, школа, и впереди ожидает школа иная, более важная и значительная. Я шел в Падую с письмом в рукаве и с крестом в ладони, и с каждым шагом ощущал, как в душе моей укрепляется решимость служить свету в самом сердце мира, где тьма любит спорить на площадях и сидеть в правящих домах без страха и без стыда.

Послушничество в Портоново стало для меня уроком верности и научило молчаливой стойкости. Совет отца Джованни открыл мне иной вид служения, где город требует слов, учение требует труда, а брань Сил выступает явнее в человеческих делах. Память о блаженном Гульельмо связала мой выбор с наследием матери и укрепила его внутренним чувством правильности. Отъезд из Анконы разорвал во мне многое, при этом сделал решение твердым, ибо любовь к дому не отменяет послушания призванию. После того мне еще только однажды довелось проездом побывать в моем родном городе, но память о нем осталась со мной до самой смерти. Так я и отправился к августинцам в Падую, неся с собой память белого камня, невысказанное благословение дяди и обязанность хранить свет среди людей.



Часть II. Орден и начало Пути (1290–1298)

1. «Падуя: послушание и учеба» (1290–1292)

Я прибыл в Падуя в начале осени, когда город уже входил в свой учебный ритм, и в воздухе стоял тот особый шум, в котором различимы шаги студентов, звон колоколов, итальянский и французский говор, обрывки латинской речи и нетерпеливое скольжение мыслей. Анкона осталась позади – с ее теплым морем, солью, время от времени накатывая тягучим ожиданием возвращения; здесь же все было обращено вперед, к формулировкам, определениям и дискуссиям, где слова и связи между ними имели цену не меньшую, чем товар в гавани. Я вошел в город как тот, кто согласился принести в жертву свою былую жизнь ради Жизни вечной.

Первый год я прожил как послушник. Это состояние трудно объяснить тем, кто не проходил его сам. Это жизнь, когда ты уже не принадлежишь миру, но еще и не принадлежишь братству; твои уже шаги дозволены, но еще не утверждены и не благословлены; твои слова допустимы, но еще не имеют одобренного веса. Я жил при монастыре, в его гостевой части, где каждый день становился испытанием усердия и устойчивости. За мной денно и нощно наблюдали, без упрека и без подозрения – просто фиксировали, как я встаю, как вхожу в молитву, как читаю, как молчу. Я быстро понял: здесь, прежде всего, оценивают не религиозный пыл или вдохновение, а способность повторять один и тот же распорядок без раздражения и самодовольства.

Порядок дня оказался строже, чем я ожидал. Часы молитвы разрывали ночь и день, труд отсекал лишние размышления, а учеба требовала внимания и терпения. Я впервые почувствовал, что послушание – это способ приучить разум к точности, ибо там, где воля действует свободно, мысль легко сбегает, как вор в ночи; здесь же каждое движение, каждое учение проверялось временем. Я начал понимать, что свобода без ясной формы быстро выдыхается, однако и форма без свободы превращается в пустую оболочку.

Лишь спустя год послушничества настал день принятия в Орден, и меня ввели в капитул. Я помню это пространство до мелочей: каменные стены, скамьи, расставленные по сторонам, солнечный свет, падающий сверху сквозь стрельчатые окна, и тишину, в которой любое движение звучало недопустимо громко. Братья сидели молча, настоятель, фра Джованни – прямо, словно статуя древнего святого. Его вопрос прозвучал внешне спокойно, и потому был особенно тяжел: «Чего ты просишь?» Я заранее знал ответ, но в этот миг слова требовали подтверждения всей моей жизнью. Я сказал: «Милосердия Божьего и вашего братства», и услышал в собственном голосе покорность и согласие быть связанным.

Обряд облечения стал для меня границей. Это был момент «умирания для мира». Сперва – стрижка: холод металла старых ножниц, короткое движение, и ощущение, будто с головы снимают само прежнее имя. Тонзура легла как знак принадлежности к иному порядку, где человек больше не скрыт за своей биографией. Затем мне велели снять мирскую одежду. Я остался стоять в исподнем, чувствуя, как исчезает привычная защита, и в этом было больше смущения, чем страха. Настоятель благословил хабит, и когда на меня возложили черную тунику, капюшон и кожаный пояс, я понял, что эти облачения – моя новая кожа, мой новый инструмент жизни. Пояс стягивал тело, напоминая, что отныне собранность – это постоянное и неуклонное требование.

Когда зазвучал гимн *Veni Creator Spiritus*, я крестообразно распростерся на полу. Камень был холоден и безразличен, и это было правильно: земля не приносит утешения. В этой позе исчезает возможность притворства; тело само свидетельствует о намерении искупления

и стремлении к Высшему. Я слышал слова молитвы, призывающие Духа и имя святого Августина, и впервые ясно понял, что меня вводят в традицию, где вера, разум и ответственность неразделимы, где мало одного лишь вдохновения, требуется смирение и усердие.

Год новициата прошел без внешних событий, но с внутренним напряжением. Я читал много и медленно. Аристотель входил в мысль не сразу: «Категории», «Первая аналитика», тексты, требующие особой усидчивости и дисциплины внимания. Я учился различать определения, видеть, как одно понятие опирается на другое, и как порою незаметная ошибка в начале разрушает все здание рассуждения. Эти книги заземляли и отрезвляли; я все отчетливее понимал, что блеск ума – это способность проследить постоянную линию мысли до конца, словно вервица, где каждый узел следует из предыдущего и ведет к следующему.

Богословие дополняло навыки мысли – навыками веры. Писание также требовало чтения с различением, а отцы Церкви учили видеть силу Божию во всех явлениях мира, и происки дьявола – в его власти. Я чувствовал, как мысль постепенно собирается, как исчезает суета, и как вместо нее появляется спокойная уверенность в том, что постижение Истины требует постоянного и напряженного труда. Молитва в этом ритме перестала быть убежищем от мира; она стала способом удерживать себя в форме.

В 1291 году я принес окончательные обеты. Эту церемонию я помню яснее, чем многие громкие события, бывшие в моей жизни после. Я вложил свои руки в ладони настоятеля и произнес клятвы, которые уже никогда нельзя взять обратно:

«Я, брат Агостино, обещаю послушание, бедность и целомудрие Богу всемогущему, блаженной Деве Марии и тебе, отцу настоятелю, согласно Уставу Святого Августина... до самой смерти».

Эти обеты не оставляют возможности для уклонения или условности: они либо пожизненны, либо ложны. И я ясно уразумел тогда, что я не просто покидаю мир, я отказываюсь от самого права пересматривать свое решение. Это пугало и одновременно приносило странное облегчение: исчезала необходимость постоянно выбирать.

Когда братья подошли ко мне с поцелуем мира, я вроде бы должен был испытать радость, но ощутил лишь тяжесть принятия. С этого мгновения я был связан уставом, подчинен церковному суду и исключен из прежнего порядка вещей. Мир со всеми его красками, всей суетой, всеми искушениями – перестал быть даже возможным местом возврата. Я чувствовал это телом, как чувствуют вес новой одежды, которая поначалу жмет, однако затем постепенно становится второй кожей.

Учеба после обетов изменилась. Я стал даже читать иначе, уже не ради знаний самих по себе, но ради пригодности. Я приучался проверять прочитанное логикой, сверять с авторитетами и Писанием, и лишь затем делать выводы об истинности. Логика учила меня ответственности, богословие – осторожности, а устав – терпению. Падуя с ее школами и спорами стала для меня первой настоящей кузницей определений. Здесь я понял, что путь, который мне открыт, не ведет прочь от городских забот и суеты. Напротив, он проходит по каменным мостовым улиц, сквозь классы и диспуты, поверх той строгой дисциплины, которая делает мысль способной служить.

Так миновали мои первые годы в орденах. Я вышел из них тревожным, усталым, но собранным. Я еще не знал, куда поведет меня дорога, где Господь уготовал мне место для служения Его вечной славе, но уже понимал: отныне всякое слово и всякое решение будут иметь такой вес, который уже нельзя отменить или переложить на кого-то другого.

2. От обучения – к самостоятельному мышлению (1292-1298)

С того времени, как я принес обеты Ордена, Падуа перестала быть для меня лишь большим городом, куда меня привела дорога. Она стала цехом моего духа, мастерской, где оттачивают ум и характер, где каменные мостовые улиц и распорядок монастырских богослужений спорят меж собою за право выступать главным учителем. В Анконе человек прежде всего слушает море и несет его бремя; в Падуе же человек слушает слова людей – и несет на себе их вес. Здесь слова рождаются, звучат и умирают на кафедрах, в судах, в купеческих конторах, в проповедях, и даже в пустых перебранках на мосту через канал; при этом всякий, кто берется за слово, рано или поздно отвечает за него своей судьбою.

Я жил в монастыре дельи Эремитани, при церкви, которую в те годы еще называли новой. Ее строили с конца семидесятых годов и достраивали на наших глазах: кирпич за кирпичом, пролет за пролетом, словно сам Орден возводил себе грудную клетку вокруг сердца города. В этой новизне было великое дерзновение, она говорила всему миру о силе и притязании братии. Когда я входил в огромный неф, я всякий раз ощущал, как само его пространство словно принуждает человека к собранности. Кирпичные стены сохраняли прохладу и запах свежей извести, а деревянный потолок уходил вверх, как перевернутый киль корабля. Говорили, что его придумал и рассчитал брат-строитель, фра Джованни дельи Эремитани, и я охотно верил этому: в этом своде была не одна красота, но и строгая молитвенная значимость. Голос проповедника поднимался и возвращался к людям так, что каждое слово достигало даже самых дальних рядов; это помещение словно предназначалось для того, чтобы толпа внимала ясно, а сам говорящий слышал себя и боялся легкомысленных речей.

Я часто стоял в церкви в часы, когда там почти никого не было. Тогда особенно чутко слышно, как где-то шуршит одежда брата, проходящего вдоль стены, как трещит фитиль лампы, как где-то вдалеке стучит молоток – строители продолжали работу. Я глядел на кирпичи и думал о том, что наш орден, называемый орденом отшельников, все сильнее укореняется в городах. Сама эта церковь доказывала: отшельничество уже давно перестало быть уходом в леса и пещеры; оно стало внутренним правилом посреди каменных улиц, рынков, судов и университетских диспутов. Это меня одновременно укрепляло и тревожило. Укрепляло, ибо я видел ясный смысл: Церковь особо нуждается в людях ученых и стойких там, где кипит жизнь. А тревожило, ибо признание и успех всегда несут с собой опасность гордыни и сладкого забвения бедности.

Рядом с монастырем стояла древняя Арена – остаток римского мира, который пережил своих властителей и остался лишь как каменная память. Я часто проходил мимо этих стен, когда шел по делам, и мне казалось, что они напоминают о том, как быстро величие превращается в руину.

Позже рядом с нашими землями богатый человек, Энрико Скровеньи, начал строить свою капеллу – слишком изящную, слишком украшенную, слишком уверенную в праве покупать красоту. Город говорил об этом, как говорит город о всякой роскоши: с восхищением и завистью. Братья же судачили иначе: с раздражением, которое прикрывалось заботой о благочинии. Я слышал, как старшие обсуждали жалобу, которую подали на Скровеньи, обвиняя его в чрезмерной пышности и в том, что частная капелла словно соперничает своим убранством с нашей церковью. Тогда я впервые ясно узрел, как тонка граница между истинной ревностью о святине и ревностью о собственном престиже. Внутри меня поднялось беспокойство: орден нищенствующий, а спорит о том, чье здание выше, чья слава звонче, чей голос привлекает больше людей. Я не осуждал старших; я понимал, что они защищают не здания, а влияние,

честь и возможность проповеди. При этом я понял также, что владычество в Церкви всегда имеет двойное обличье: служение и управление всегда идут бок о бок, и тот, кто притворяется, будто видит только одно, скоро делается опасен.

В те годы главным местом моей жизни стал студий при монастыре. Это был один из тех общих учебных центров ордена, куда стремились лучшие головы, и где сам порядок обучения напоминал городскую стену: крепкий, проверенный, без излишних украшений. Падуа была университетским городом, и связь между нашим монастырем и университетом ощущалась постоянно. Приходили люди, спорили, задавали вопросы, приносили новости из аудиторий; уходили – и оставляли после себя не только слова и идеи, но и запах мокрой шерсти, чернил и городской суеты. Я видел, как богословие и философия уживаются рядом с торговыми делами и судебными тяжбами, и понимал: здесь мысль не может питаться одной молитвой, она должна быть инструментом.

Учение в ту пору для меня имело особый вкус. Книги были тяжелыми – и по весу, и по требованиям к разуму. Пергамент шуршал, словно сухая листва, чернила пахли железом и вином, а рука утомлялась раньше, чем ум соглашался признать усталость. Я учился философии и богословию так, как учатся рукоделию: повторением, проверкой, стыдом за ошибки, медленным, но неустанным накоплением разумения. В Анконе я знал, что числа управляют людьми; в Падуе же я понял, что определения и формулировки управляют мыслью так же непреодолимо. Стоит чуть неверно установить смысл слова – и весь вывод превращается в ловушку.

Я много занимался логикой. Меня привлекало в ней то, что она не терпит расплывчатости. Логика приучает не спорить ради победы, она учит дискутировать ради истины; при этом хотя истина в споре рождается редко, зато в споре быстро обнаруживается ложь. Поначалу я мучился: мысль моя была слишком жива и быстра, она словно неслась к выводам, стремилась перескакивать через ступени. Меня учили возвращаться назад, проверять, не затаилась ли ошибка в самом первом шаге. Я видел, как легко блеск ума превращается в суетную ловкость, и как трудно взрастить то, что действительно заслуживает уважения: способность удерживать линию рассуждения до конца и отвечать за каждую связку и каждую развилку.

В эти же годы я все больше входил в богословское чтение. Оно требовало иного подхода: тогда, как логика проверяет форму, богословие проверяет само сердце и намерение. Писание я читал уже не как юноша, который ищет в нем огонь и образы, но как человек, обязанный находить опору и различать. Текст не позволял быть только вдохновленным; он требовал быть точным, чтобы смысл не затмевался собственными грезами и мечтами читателя. Я начал понимать, что истинная вера в ученом человеке проявляется именно в готовности подчинить свою горячность строгому чтению, в отказе присваивать себе то, что принадлежит Богу, Церкви и ее памяти.

Особенное место в моих размышлениях занимал Эгидий Римский, которого в нашем ордене полагали Учителем школы. Его письма и проповеди рассказывали, как разум может служить Церкви без рабской услужливости, и как богословие способно удерживать власть в границах закона. Его имя всегда звучало одним смыслом с дисциплиной, с учебными планами, с разговором о том, как воспитывать людей, пригодных к проповеди и управлению. Я еще не мог говорить о нем как о личном наставнике, однако его влияние ощущалось в самой ткани обучения: в уважении к Аристотелю, в требовательности к аргументу, в понимании, что церковное служение давно стало делом не только молитвы, но и знания.

Довольно скоро на меня возложили обязанность преподавать младшим. Это было обычным делом: ученик становится учителем почти сразу, чтобы проверить, усвоил ли он предмет по-настоящему. Я поначалу принял это прежде всего как испытание смирения. Учить – значит обнажать собственные пробелы; ученик способен задать вопрос, который разоблачает твою гордость быстрее, чем наставник. Я помню одно из первых своих занятий: небольшой зал, несколько молодых братьев, стол, на котором лежали книги, и свет из узкого окна, пада-

ющий на страницы так, что пыль в воздухе становилась видимой. Я принялся объяснять ход рассуждения, и вдруг поймал себя на желании блеснуть пониманием. Это желание было таким острым, почти приятным, и в этот же миг я узрел, насколько оно опасно. Тот, кто учит ради себя, воспитывает учеников для собственной славы; тот, кто учит ради истины, воспитывает их для Церкви. Я молча прикусил язык и заставил себя говорить проще, медленнее, точнее. Так я впервые ощутил, что самостоятельное мышление начинается там, где ум перестает служить тщеславию.

Монастырь в эти годы жил напряженно. Он был нов, он рос, он утверждал себя в городе. Собирались прихожане, приходили люди власти, приходили богатые и бедные. Огромный неф давал возможность говорить к массам, и братья пользовались этим. Я видел, как проповедь меняет человека: она заставляет держать себя в руках, понеже любой неверный поворот речи рождает беду. Я также видел, как легко проповедь искушает стать искусством нравиться. Мне казалось, что наш деревянный потолок, похожий на перевернутый киль, напоминает об этом: корабль держится на плаву благодаря расчету и дисциплине; один неверный шаг – и море забирает все.

Падуанская жизнь постоянно возвращала меня к мысли о сочетании созерцания и действия. Созерцание питает ум и сердце, действие же проверяет их на прочность. В монастыре созерцание было регламентировано распорядком; в городе же необходимость действий словно навязывалась самим воздухом. Я видел нищих у ворот, видел студентов, которые спорят с такой горячностью, что готовы ударить друг друга из-за слова; видел купцов, которые умеют оправдать любую выгоду именем Божиим; видел судей, которые за мзду готовы были продать свои решения и саму свою честь. Все это не позволяло мне думать о вере как о частном спасении. Вера здесь была общественным делом, делом общества, которое удерживает его от распада, от падения во тьму соблазнов и грехов.

В 1294 году спокойную жизнь всколыхнула новость о неслыханном деле – отречении только что избранного Папы от престола. Тогда все говорили о папе-отшельнике, который был в июле вознесен на высоту престола почти против своей природы, а в декабре – отрекся, не выдержав тяготы власти. В трапезной читали письма, и брат, назначенный на чтение, спотыкался на именах, понеже смысл новости казался невероятным: сперва, после двух лет споров и ожидания кардиналы избрали Пьетро из Морроне, человека пустынного, привыкшего к камню и молитве больше, чем к суду и тяжбе. Он принял имя Целестина. В этих словах было что-то из древних житий: словно Церковь, устав от хитрости и расчета, захотела показать миру простоту, которую мир уже почти разучился уважать.

Говорили, что он сам объявил о сложении бремени и что для этого был дан законный порядок, подтвержденный собором кардиналов. Я слушал эти пересуды с тем вниманием, с каким слушают чтение Сентенций: каждое слово тянет за собой последствия. В обетах мы обещаем до смерти, и этот «до смерти» в юности звучит как высокая формула. Тут же я увидел, как слово «до смерти» может стать тяжестью, которую человек несет по-настоящему. Целестин вышел из власти так, словно спасал душу от дела, которое превосходит человеческие силы. При этом сама возможность такого выхода показала мне, что папство в земной истории живет среди опасностей, и потому окружено правом, обычаями, охраной, стенами.

Следующим избрали Бонифация, Бенедетто Каэтани, человека ученого и правового. Его имя в письмах звучало иначе: меньше житийной мягкости, больше твердости судьбы. В Падуе о нем говорили как о мастере канонического права: он умеет устанавливать пределы, умеет связывать волю формулой, умеет приводить в порядок то, что расплывается. Я понял тогда, что престол Петра требует пастыря. Он требует и хранителя закона. Всякая слабина наверху разливается понизу, и городские страсти начинают считать себя выше алтаря.

Еще шептали о том, что бывшего Папу держат под стражей, чтобы его имя не стало знаменем для чужих рук. Я не знал точных истин в этих слухах, при этом их дыхание было доста-

точно ясным: в мире, где короли и роды меряют власть монетой и мечом, даже святость становится опасной, когда ее имя можно поднять как стяг. Этот ранний урок я запомнил накрепко. Он приготовил меня к тому, что позже развернулось во весь рост: к спору Святого престола и короны, где каждое слово уже служит оружием, а каждая уступка звучит как трещина в порядке. Я понял тогда, что владычество Папы много выше личности самого человека, и если человек «не тянет» это бремя, он может уйти, но сама власть остается незыблемой.

К 1298 лету я служил в Падуе в качестве чтеца. Это означало, что мне доверяли читать и толковать, доверяли вести учение, доверяли формировать воззрения у младших. В этом доверии было и утешение, и опасность. Утешение – поелику труд ума перестал быть только моим внутренним подвигом, он стал полезен. Опасность же состояла в том, что полезность слишком легко сползает в самодовольство. А потому я изо всех сил старался помнить обеты. Они звучали во мне как пожизненный приговор, но при этом – и как единственная защита. Послушание удерживало меня от своеволия, бедность – от обычая считать себя достойным большего, целомудрие – от рассеяния сердца. В те годы я понял: обеты наиболее сильны не в день их произнесения, они живут в каждом часу, когда человек должен выбрать богоугодность вместо удобства.

Именно тогда со мной произошло событие, которое показало мне, как быстро монастырская мысль оказывается вплетена в городскую власть. По благословению Отца настоятеля, подеста Падуи, Биаджо де Толомеис, обратился ко мне с вопросом о рекомендации одного из своих протеже. Биаджо де Толомеис происходил из знатной сиенской семьи Толомеи. В соответствии с законами того времени, на должность подеста приглашали именно знатных иностранцев, чтобы они могли беспристрастно управлять городом. Он не просил меня писать богословский трактат; он хотел ясной формулы, рецепта, пригодного для конкретного дела. Я принял это как испытание. С одной стороны, мне было понятно: город нуждается в критериях, понеже в городе слишком много людей, желающих должностей и владычества. С другой стороны, мне было страшно: критерий, который напишешь, легко может обернуться оружием. Им будут оправдывать назначения, им будут прикрывать интриги, им будут судить людей.

Я ответил брошюрой, которую назвал «Похвала совершенному и церковному мужу». Я писал ее с ощущением, что складываю не токмо советы для одного чиновника, но образец, который может пережить меня. Мне требовалось соединить в этом образце две опоры, которые в реальной жизни часто расходятся. Одна опора – знание: Писание, философия, каноническое право, умение мыслить ясно и проверять себя аргументом. Другая опора – нравственные начала: добродетель, аскеза, верность уставу, способность жить так, чтобы жизнь не опровергала слова. Я видел вокруг слишком много людей, которые держатся только за одну опору. Однако ученый без добродетели легко превращает свое знание в тонкий яд. Благочестивый же без знания тоже часто делается игрушкой чужих речей и чужой власти.

Далее мне пришлось коснуться вопроса, который в то время обсуждали в разных домах и школах. Речь шла о том, какой тип жизни следует считать более совершенным: жизнь молитвенного уединения или жизнь служения среди людей. Я писал об этом осторожно, понеже спор легко превращается в войну. Мне было важно показать, что церковный муж обязан хранить в себе оба начала. Созерцание дает чистоту намерения, действие же приносит проверку и плод. В нашем Ордене это было уже почти догмой: августинцу следует жить среди города, при этом не растворяться в его обычаях. Я ощущал это на себе ежедневно: утром – литургия и чтение, днем – занятия и разговоры, вечером – служба и снова книги. В этом ритме я увидел не способ примерить разные начала или стили жизни, но именно особый путь, который требует особой крепости.

Я много писал о добродетелях, понеже городская практика заставляет видеть их истинную цену. Смирение удерживает человека от самовозвеличивания; целомудрие охраняет сердце от рассеяния и хитрости; бедность защищает от лукавого союза с богатством. При этом

я добавил то, что многие стесняются произносить вслух: церковный муж обязан прежде всего иметь в себе твердость характера. Закон и порядок держатся на способности их поддерживать там, где все расшатывают страсти, страхи и алчность; жестокость и высокомерие же только разжигают разлад. Пастырь отвечает за людей, и ответственность эта имеет не только моральную, но и определенно-юридическую сторону. Я видел, как бедняк может быть раздавлен договором, как сирота может стать добычей родственника, как женщина может быть осмеяна и лишена защиты, как ложное обвинение может разрушить честь. Церковь в городе обязана быть не только голосом утешения, но и цитаделью, которая защищает слабых от произвола сильных.

Так мой труд неизбежно подошел к учению о самой Церкви. Я писал о том, что личное совершенство клирика не принадлежит только ему. Оно укрепляет церковный организм, делает его способным действовать, судить, учить, сохранять единство. Совершенный церковный муж служит опорой Папскому авторитету, понеже без достойных людей любая власть превращается в пустой знак. Это было рискованное утверждение для молодого чтеца, и я понимал риск. При этом я видел вокруг достаточно примеров, чтобы не молчать: управление без внутренней структуры порождает зло, благочестие без разума рождает слабость, знание без послушания созидает ересь гордыни.

Когда я завершил эту работу, я испытал странное чувство. Во мне было больше страха, чем удовлетворения или торжества. Я осознал, что впервые сказал слово, которое город услышит как руководство, а орден – сочтет как знак зрелости. В тот вечер я долго сидел в тишине монастыря, слушая, как где-то вдалеке гаснут шаги, как в церкви затихает голос служки, как ветер играет в деревянных балках потолка, и думал о великой силе обетов. Человек может ошибиться в диспуте и всегда будет стараться исправить себя. Человек может оступиться в рассуждении и пытаться переписать страницу. А вот Обет невозможно переписать; он навечно остается в душе как печать, и всякая попытка снять его разрывает человека изнутри.

Эти годы научили меня самостоятельному мышлению именно потому, что они постоянно связывали мысль с ответственностью. Я рос в учении, понеже учение требовало труда. Я рос в дисциплине, ибо дисциплина не позволяла уму стать игрушкой настроения или садом, где резвятся демоны. Я рос в понимании власти, ибо город и монастырь ежедневно показывали, как легко управление подменяет служение. Падуя выстроила мне первую зрелость: она научила меня создавать такое состояние ума, которое выдерживает спор и проповедь, и не страшится молчания.

В итоге я вышел из периода 1292–1298 годов человеком, чье ученичество засеяло поля моего ума, успело дать всходы и даже принести первый урожай. Я научился принимать чужие мысли без рабства и отдавать свои – без тщеславия. Я осознал, что идеал церковного мужа – это трудная мера жизни, в которой разум, добродетель и твердость поддерживают друг друга. Я также понял, что Церковь в городе живет под постоянным испытанием: она растет, строит, учит, спорит, и каждый ее успех легко может стать соблазном. Падуя стала моей школой самостоятельности, и эта самостоятельность с тех пор означала одно – быть ответственным перед Богом за каждое слово, которое произносишь от имени Церкви.

3. Первый опыт в политике (1297)

Я пытаюсь вспомнить, когда именно в мою жизнь вошли дела власти. Память тянется к книгам и к распорядку, к свечному дыму над страницей, к прохладе камня под ступнями. При этом политика пришла как письмо с печатью, по торговым дорогам, сквозь тревогу в голосе кого-то из братии, она слышалась даже в самом слове «корона», произнесенном в монастырской трапезной так, словно речь шла о болезни.

К тому времени спор между папой Бонифацием и королем Франции Филиппом достиг той остроты, когда богословские формулы все больше начинают звучать как приговоры. Я видел копии папских посланий и слышал пересуды о булле «*Clericis laicos*», где Апостольский престол запрещал светской власти тянуть церковные деньги без дозволения. В Италии эти споры сперва казались далекими. В Падуе конфликт воспринимали как французское дело, где король упрямится, а Папа пытается его вразумить. Затем в письмах появились иные оттенки: королевские сборы давят духовенство, люди боятся, курия ищет тех, кто сумеет говорить ясно и твердо. Так я оказался в числе тех, кого отправили в Лион.

Дорога в Лион всегда была большой дорогой. По ней шли ученые к Парижу, по ней шли курьеры в Рим, по ней шли паломники и купцы, по ней текли слухи. Я ехал с поручением Ордена и с внутренней тяжестью: мне предстояло говорить в городе, где владычество архиепископа и капитула собора направляло и организовывало всю жизнь, и где корона Франции шаг за шагом прибирала к рукам чужие владения, где слово даже простого монаха неизбежно становилось частью большой борьбы, от которой пахло железом, кровью и воском печатей.

Лион встретил меня водой: река Сона текла широким серым телом, и над ней висел холодный осенний туман. Лодки стучали о пристани, мокрая древесина пахла смолой, в воздухе стоял запах рыбы и вина. На улицах слышалась французская речь, слишком резкая для моего итальянского уха; рядом звучала латынь клириков, и обе речи словно спорили о том, кто здесь подлинный хозяин. Я шел к нашему дому в квартале Сен-Венсан, по берегу, туда, где ныне говорят о площади Сатоне. Обитель была скромной: небольшая часовня, dormitorio, кладбище, ограда, за которой трава росла гуще, чем на улице. Этот дом еще только входил в силу. Его стены не могли состязаться с кирпичным великаном дельи Эремитани. При этом несмотря на его скромность, ему уготована была важная роль проповедника: он располагался рядом с рекой и рядом с дорогой, и потому видел множество самых разных лиц, множество нужд, множество опасных разговоров.

У входа меня встретил приор – Достопочтенный брат Гийом. Я хорошо запомнил его руки: жилистые, сухие, с пятнами чернил на пальцах, как у человека, который чаще держит перо и ключи, чем кадило. Он стоял прямо, однако не выражал торжественности. Его взгляд был спокойным, при этом внутреннее напряжение читалось в том, как он задерживал дыхание перед вопросом, словно проверял, с какой стороны сегодня ветер.

Он назвал меня по имени и по происхождению, и я понял, что в этом доме ведут учет людей так же тщательно, как купцы ведут учет товара. На столе в его комнате лежали письма, на некоторых из них еще остался припавший дорожный песок; рядом – связка ключей, тяжелая, как знак власти; чуть в стороне – дощечка с пометками, крошечные цифры, имена, даты, словно сама дорога была здесь записана и подчинена порядку. «Вы пришли вовремя», – сказал он. «Сегодня я жду людей из Италии, завтра – из Парижа. Эта обитель высится на большой дороге, и братство живет здесь словно у ворот». Он произнес это без гордости, при этом в словах звучало знание: хранитель ворот отвечает за то, кто в них входит и кто – выходит.

Мы говорили недолго, и в каждом его движении я видел человека, поставленного в сложное положение. Лион оставался церковным городом, где Архиепископ и каноники собора Сен-Жан ревниво берегли свои права. При этом корона Франции все сильнее влекла город к себе,

действуя подкупам, привилегиями, сборами и с помощью людей, которые хотя и улыбаются мягко, но требуют твердо. Приор Гийом должен был удерживать наш дом, словно челн в этом течении, не раздражая архиепископский круг и не вызывая лишней подозрительности у королевских людей. Он говорил о них без прямых обвинений, как говорят о погоде, при этом умея утвердить свое мнение. «Слова здесь слушают особенно внимательно, брат, – произнес он. – Ухо собора и ухо короны стоят близко друг к другу. Проповедь в таком месте требует чистоты и меры».

Потом он показал на мне узкое окно, выходящее на двор. Там лежали камни, известь, доски, брусья. «Мы растем, – сказал он. – Дормиторий тесен, часовня не вмещает тех, кто приходит. Нам нужны средства, и их дают охотно, когда человек чувствует пользу. При этом всякое пожертвование имеет свой хвост: кто дает, тот и ждет чего-то взамен. Кто ждет, тот начинает требовать». Он произнес это тихо и внешне спокойно, но я услышал в этом большой опыт человека, который хорошо умеет благодарить и не хуже умеет обороняться. В Падуе рост Ордена ощущался как сила. В Лионе же этот рост был похож на постоянный торг, где святыня идет рука об руку с расчетом, и человеку приходится выбирать слова так, чтобы они не превратились в вериги.

Я спросил его о городе, и он ответил так, словно говорил о теле, в котором меняется кровь. «Еще недавно Лион сохранял свою самостоятельность как церковного владения. Теперь все чаще решения приходят от посланников Короны. Город постепенно свыкается, а привычка – самый надежный способ захвата». Это прозвучало как урок, который я запомнил. Книги научили меня хорошо различать определения; приор учил распознавать власть, которая приходит в одной руке с мечом, а в другой – с оправданием.

В тот же вечер он отвел меня в часовню. Там пахло сыростью, пламя свечей колебалось и сгибалось, словно под тяжестью общей ситуации, и тени дрожали на стенах. Гийом остановился у алтаря и напомнил о том, что для нашего ордена Лион имеет особую память: здесь, на Втором Лионском соборе 1274 года, папа Григорий X подтвердил право августинцев на существование, когда множество малых общин было распущено. Он говорил об этом не без торжества в голосе, словно описывал тайну или нечто священное, что лежит в основании дома. «По этой причине мы стоим здесь законно, – сказал он. – Это слово Собора защищает нас, когда люди спорят о том, кому принадлежит город и кому принадлежит влияние». Я понял тогда, что политическое измерение присутствует даже в самой нашей легитимности: орден жив не только молитвой, но и памятью решений, которые имеют силу закона.

На следующий день я начал читать первые проповеди в нашем доме. Сначала приходили главным образом простые люди, те, кто живет у реки и у рынка. Их лица были усталые, руки грубые, глаза внимательные. Они слушали латинские слова и ждали понятного смысла. Я говорил о послушании Церкви, о том, что церковное имущество служит бедным, служит богослужению, служит учению, и потому не может становиться добычей мирской нужды. Я говорил о том, что хотя власть короля и сильна и дарована Богом, но при этом владычество Папы – наместника Сына божьего – касается самой жизни души и порядка спасения. Внутри меня все время бушевали борения: я боялся риторики, которая льстит слушателю, а также – боялся сладости собственной уверенности. Я ощущал и другое: чувство, что мой голос вливается в очень большое течение событий, и это чувство приносило свое искушение значительности. Оно рождало амбицию – тонкую, умную, прикрытую благими словами. Я удерживал ее памятованием о том, как я клал ладони в руки настоятеля и произносил свои обеты до смерти. Всякое влияние должно проходить через этот порог, иначе оно превращается в яд.

В городе спор между Святым престолом и Коронай ощущался повсюду. На улицах говорили о налогах, о королевских требованиях, о письмах из Парижа. Клирики ходили с выражением тревоги, которое трудно скрыть, когда речь идет о деньгах и о чести. Однажды я встретил у ворот собора группу каноников. Они смотрели на мой хабит так, словно взвешивали, кто

я для них: помощник или соперник. В их взгляде жила ревность о власти, прикрытая ревностью о благочинии. Я поклонился и прошел, сохраняя молчание. Молчание в такой минуте гораздо надежнее и лучше спора. Оно оставляет человеку возможность сохранить лицо, а тебе – сохранить цель.

Летом 1297 года в Лион пришла весть, от которой город заговорил особенно возбужденно. Святейший отец папа Бонифаций провозгласил святым короля Людовика IX. Людовик давно жил в памяти Европы как образ христианского монарха и как человек крестовых походов, и потому его канонизация тронула сердца. Я видел радость французов, видел, как они произносили имя святого короля с гордостью, которая легко соединяется с политикой. Я видел и другую сторону: этот жест служил смягчению конфликта, он был словом, направленным к королю через образ его святого предка. В тот день я проповедовал о святости власти, о том, что правитель призван быть защитником Церкви и справедливости, и что истинная слава рождается из служения. Я говорил это с искренностью. При этом внутри меня оставалось знание: даже святость в земном мире становится знаменем, и потому проповедник обязан следить за сердцем, чтобы не начать служить знаменам вместо истины.

Лион не на словах, а на деле показал мне, как церковный город живет среди чужих притязаний и как владычество короны растет с помощью обычая, посредством сборов, путем давления на слабых. Он показал, как нищенствующий орден ищет свое место между кафедрой собора и улицей, между милостыней и учением. Он показал, как Папа говорит языком религии, а король – языком закона, и как оба языка требуют соответствующего ответа. И я дал свой ответ тогда же, внутри себя и в своих проповедях. Я стал на сторону Папы решительно, понеже видел в папстве принцип единства, который удерживает Церковь от распада на города и короны, а в самом Святейшем отце – законного и верного наследника Святого Петра.

Когда я возвращался в келии, слышал крики рыбаков на Соне, видел огни на воде и тени стен, я ощущал, что мое обучение вступило в новую полосу. Я еще оставался молод, при этом уже понимал, что богословие живет среди земных сил и обязано говорить с ними языком ясности и твердости. Именно тогда во мне укрепилась мысль, которая позже много раз возвращалась в трудах: церковный муж должен иметь разум, добродетель и способность поддерживать установленный Богом порядок, иначе он станет игрушкой Князя мира сего. Этот урок Лиона я запомнил навсегда, и он был первым моим опытом в делах власти.

Знакомство с приором Гийомом показало мне, как орденское служение соединяет молитву с управлением дорогой, людьми и средствами. Лион в 1296–1297 годах был местом, где конфликт папства и короны проявлялся в повседневных жестах, в страхах духовенства и в осторожности слов.

4. На службе Ордена (1298-1299)

Постепенно в Падуе укрепилась моя известность как чтеца и философа, и я впервые ощутил, что знание становится все более тяжелой ношей. До того умствование было моим внутренним делом: я учился, исправлял себя, придерживался распорядка, привыкал к весу книг и к тяжести обетов. С конца 1298 года все чаще звучало другое: поручение, дороги, проповеди, письма для других домов, просьба принять юношу в учение, просьба разрешить спор, поручение укрепить школу, где братьям не хватает голоса. Так Орден сделал со мной то, что способен делать со всяким своим человеком: вывел из знакомого круга и заставил проверять свои знания, умения и навыки на расстоянии.

Я жил все там же, у дельи Эремитани, в той новой обители. Часто я просыпался еще затемно, пока город еще не успевал поднять свой шум; в коридорах монастыря слышались шаги братьев, стук сандалий о камень, едва слышный шелест ткани и пение вполголоса. Лампады у статуй горели теплыми огоньками, и в этом неярком свете было свое утешение: все, что человеческое – часто колеблется, а огонь служения сохраняет свою устойчивость, коль человек бережет его в себе.

Падуя в те годы была оплотом гвельфов (сторонников Папы), и эта общегородская приверженность особенно остро ощущалась в монастырских стенах. В разговорах братьев часто звучали названия союзных городов, упоминания о тревогах севера, о притязаниях Вероны и о тех, кто стремился увеличивать свое могущество мечом и угрозами. Хотя я и не был создан для политики, но при этом понимал, что Орден в Италии живет внутри городских союзов и вражд. Мы проповедуем миру, при этом идем по дорогам, где каждое знамя на башне совершенно ясно говорит путнику, как его встретят. И вот в конце 1298 года мне стали часто поручать поездки по городам, монастырям и аббатствам, которые считались для Падуи близкими и надежными.

Первой дорогой для меня стал путь к Тревизо. Он довольно близок, и потому может показаться легким, но при этом он сразу демонстрировал, что монашеская дорога – это всегда труд и души, и тела. Я шел с рекомендательным письмом и с небольшим узлом пожитков, который легко поднять, но трудно носить долго. Дорога вилась между полями и каналами, воздух пах влажной землей, а в придорожных селениях люди смотрели на черный хабит по-разному: одни кланялись, другие морщились, третьи крестились так быстро, словно прогоняли страх. В Тревизо августинский дом высился как союзный форпост: меньше Падуи, проще, теснее, с более тихим распорядком и менее богатой библиотекой. Там мне поручили говорить с молодыми братьями, проверять их чтение, объяснять порядок рассуждения. Я увидел, как быстро мои собственные слова перестают принадлежать мне: стоит произнести определение, стоит дать пример, стоит оставить толкование, и оно уже само собою начинает жить в чужих головах. Это рождает новое понимание: учитель отвечает за то, что посеял, даже если он уже ушел восвояси по другой дороге.

Едва вернувшись, я получил новое поручение – путь на юг, через Болонью. Болонья встречала величественно и спесиво. Там в самом воздухе отчетливо чувствуется вековая привычка к учению; там улицы словно протерты шагами тех, кто много спорил о праве, о богословии, о смысле слов. Монастырь Сан-Джакомо Маджоре, основанный недавно, в 1267 году, уже вырос в одно из богатейших гнезд нашего ордена. Я вошел туда и сразу ощутил дух этого места: библиотека, где полки хранят больше памяти, чем может удержать один человек; опытные магистры, у которых взгляд словно прорезает пустоту речей; распорядок, в котором учеба встроена в молитвенные бдения так, что одна поддерживает другие. В Болонье я в основном слушал поучения мастеров и сам говорил мало. Конечно, мне хотелось показать себя, и это желание было неприятно узнаваемым. Оно приходило как легкий жар в груди: ты уже зна-

ешь многое, ты уже умеешь говорить, люди в соседнем доме уже знают твое имя. Но Болонья научила лечить этот жар – холодом фактов и дисциплины. Там быстро становилось ясно, что ум без смирения превращается в инструмент тщеславия, а тщеславие так легко облекается в церковную одежду.

Именно в этих поездках я начал узнавать и иной тип учителей и покровителей. В Падуе меня знали как человека способного и пригодного к делу. В Болонье же на меня смотрели как на одного из многих, кто хочет подняться выше своего удела. Такой взгляд поначалу ранит, но затем очищает. В разговоре с одним из старших я услышал короткую фразу, которая осталась во мне надолго: «Служение Ордену делает человека видимым; а видимость делает человека уязвимым». Он не поучал меня, он сказал это со всей убежденностью, как говорят об очевидном законе природы. Но я понял: амбиция рождается не тогда, когда человек еще только мечтает о славе, она рождается тогда, когда он впервые чувствует, что способен направлять и влиять. Влияние это может проявляться с помощью слов, с помощью доверия, в поручениях, в том, что именно тебя зовут, когда другим не доверяют. И с этого мгновения начинается настоящая борьба за чистоту намерения.

Из Болоньи я уехал с ощущением, что учеба входит в новую пору. Раньше я впитывал знания, как губка впитывает воду. Теперь же знание требовало собственного порядка: ум должен был собирать услышанное, проверять, связывать, решать, что достойно сохранить, а что следует отбросить. В монастырских стенах я продолжал читать Писание и Отцов. При этом все чаще возвращался к тому, что мы называем наукой рассуждения: к логике, к правилам вывода, к искусству различать истинное доказательство от красивой речи. Я видел вокруг слишком много красивых речей. В городах они служат выгоде, в университетах – победе в диспутах, в церковной среде они служат власти. И в этом море слов я хотел удержать свой берег, где слово становится прежде всего служением Богу.

В 1299 году мои дороги стали еще обширнее. Мне довелось побывать в блестящей Венеции, где августинцы укрепляли свою главную обитель – Санто-Стефано. Там строительство началось в 1294 году, и я застал монастырь в состоянии роста, похожего на то, что я видел в дельи Эремитани. Венеция живет водой, и это меня странно возвращало к памяти детства: запах соли, мокрой древесины, смолы, голоса людей, говорящих быстро и уверенно. При этом здесь все было иначе, чем в Анконе. Венеция казалась витриной мира: через нее вереницами идут паломники, послы, торговцы, новости. Монастырь там ощущал себя лицом Ордена перед многочисленными чужими глазами. Я произносил свою проповедь в небольшом круге, слушал рассказы о Святой Земле, видел, как братья встречают людей, у которых на одежде пыль многих дорог и на душе тревога предстоящего пути. В такой среде легко полюбить внешний блеск церковной роли: тебя слушают, на тебя смотрят, к тебе подходят за благословением. Я старался держать себя смиренно, памятуя обеты. Бедность здесь имеет особый вкус: она требует, чтобы сердце не прилипало к богатству, которое вокруг течет как вода.

Мне довелось также поехать дальше, в сторону Романьи, в Римини, где церковь Сан-Джованни Эвангелиста, которую многие зовут Сан-Агостино, собирала вокруг себя местную духовную жизнь. Город находился под правлением рода кондотьеров Малатеста и сохранял прочную гвельфскую связь. Малатеста де Веруккьо, который с 1239 года занимал должность подеста Римини, встал во главе всех гвельфов Романьи и организовал убийство своих противников-гибеллинов из семейства Парчитати. И там я увидел свой облик служения: меньше университетской строгости, больше пастырской необходимости. Люди приходят со своими бедами и страхами, при этом они слушают слово так, словно держатся за него как за поручень в темноте. В Римини я впервые почувствовал, что проповедь – это тяжкий труд, в котором нельзя позволить себе ни холодности, ни легкомыслия. Слова обязаны утешать, обязаны и направлять, иначе человек уйдет с еще большей путаницей в душе.

В те же месяцы мне рассказывали о Флоренции и о монастыре Санто-Спирито, признанном еще в 1284 году одним из престижнейших центров премудрости. Я слышал это имя как знак высокого влияния, связанного с гвельфским движением и близостью к тем кругам, где решаются церковные и городские судьбы. Флоренция в те годы стояла передо мной как земля обетованная. Мне хотелось увидеть ее своими глазами. Это желание я распознал и удержал. Я слышал о ее красоте, о ее строгих улицах и гордом дыхании искусств, она манила обещанием той высшей школы, где мысль служит Церкви с особой силой и ясностью. Я ловил себя на том, что уже мысленно раскладываю дни по часам: какие книги просить, какие диспуты слушать, каким людям задавать вопросы. Такое воображение легко принимает вид ревности о науке, а в глубине несет и иной огонь – желание утвердить свое имя.

Однако путь туда закрыла буря обстоятельств. Город был расколот на «черных» (сторонников Папы) и «белых» (умеренных, к которым принадлежал Данте Алигьери), и раскол этот быстро перестал быть спором домов и советов: он стал уличной войной, где вчерашний сосед завтра делается врагом. Я понимал, что в таком городе мне естественно держаться «черных», вместе с тем я видел, что верность в таких смутах часто служит лишь вывеской для местной ярости. В те же годы Бонифаций VIII все настойчивее привлекал монахов-ученых к делу связанных и посредников, и мой путь все чаще определяли письма и поручения, а не желания и планы. Старшие не захотели ставить меня под удар флорентийских стычек, где кровь проливали уже и те, кто носит церковную одежду, и те, кто прикрывается именем Церкви. Орден имеет свой порядок дорог, и человек внутри него учится ждать. Я понимал, что поспешность в этом деле во многом основывается на гордыне. Время служит тому, кто умеет подчинять свое стремление послушанию.

Так проходили мои первые годы на службе Ордена, когда частые поездки делали меня одновременно шире, опытнее и вместе с тем осторожнее. Я входил в дома, где учение задает тон, и видел, как строгие магистры берегут разум от самолюбования. Я входил в дома, где главной задачей становится проповедь и укрепление людей, и видел, как слово должно быть простым, чтобы быть спасительным. Я возвращался в Падую и снова ощущал ее как средоточие: университетский город, оплот Папы, дом, который строит себя как церковная твердыня и как уважаемая школа.

Однако внутри меня в эти годы поселилась и греховная амбиция. Она проявлялась в желании быть признанным, в удовольствии от удачного диспута, в сладости того, что тебя зовут, предпочитая твои поучения – словам других. Я изо всех сил старался держать ее в узде, памятуя обеты как пожизненную связь с Господом. Послушание приучало меня принимать поручения без выбора удобств; бедность напоминала, что истинная цена служения измеряется не недостатком, а чистотой намерения. Целомудрие сохраняло сердце в собранности, давая уму не рассеиваться по случайным прихотям. Я начал понимать, что самостоятельное мышление рождается не только из чтения. Оно рождается из дорог, из ответственности за слова, из того, что чужая судьба может зависеть от твоего рассуждения и твоих наставлений.

Так тот период стал для меня первой школой орденской службы. Дома Тревизо, Болоньи, Венеции и Римини показали мне разные лица нашего призвания и разные искушения, которые идут рядом с успехом. Я увидел, что амбиция появляется там, где слово начинает набирать вес, и потому она требует постоянной внутренней стражи. Эти дороги сделали меня осторожнее в речи и требовательнее к себе, понеже служение Церкви живет в точности намерения так же крепко, как в точности учения.



Часть III. Путешествие в Страну Востока (1299-1303)

1. Рыцари Ордена Храма

В те годы жизнь в Падуе твердо направляла меня по пути учения и служения, как каменные берега ведут речную воду в русле: день за днем, диспут за диспутом, лекция за лекцией. В Эремитани я знал каждый изгиб коридора, каждый запах воска у хора, мог угадать, кто из братьев сейчас работает по звуку, с которым перо царапает пергамент. При этом город жил напряженно, словно вокруг монастырских стен все тесней сжимался иной круг: купеческий, судебный, посольский, военный. С площади до ворот тянулись обозы, у мостов толпились люди, и всякая речь непременно сводилась к дорогам и к товарам.

О доме Храмовников на Виа Альтинате я часто слышал поначалу в нашей школе, как о другом, необычном и даже опасном, месте учения. Один из старших братьев, сведущий в языках и любивший редкие книги, как-то сказал мне в полголоса, что у рыцарей Храма есть полки, на которых стоят рукописи, привезенные из-за моря, и что среди них попадаются тексты, которых городские клирики касаются с опаской. Он произнес слово “восточные” так, будто оно само по себе несет запах ладана, а может – крови и дыма. Тогда меня увлекло желание увидеть то, что рождено под иным небом, в других странах и верах, и проверить, как это звучит в свете нашего учения.

От Эремитани до их комменды путь занимал всего несколько минут. Я шел по улицам, где камень мостовых был влажным, а люди непрестанно говорили на ходу, и заметил в себе странное чувство: я приближаюсь к церкви Сан Джованни ди Мальта, которую также именовали Сан Джованни ди Винья, словно иду к какой-то особой святыне. Это была полноценная комменда – административный центр, где жил прецептор (управляющий) и несколько рыцарей-братьев. При ней находился постоялый двор для паломников и рыцарей, направлявшихся в порты Адриатики. Позднее люди назовут это место Сан Гаэтано, однако тогда это был дом Ордена Храма, их главный опорный двор в Падуе, где решали дела имущества и дорог. У ворот почти всегда стояли люди, похожие на паломников, и рядом проходили братья в белом с крестом; и их братство казалось крепче любого городского устава.

В первый раз я вошел туда с просьбой об обучении. Меня спросили, кто я и откуда, и я назвал свой монастырь и свое послушание. Сказал, что ищу книги. Служитель посмотрел на меня долго, потом отвел в сторону, где шум двора становился глуше. Там стояли сундуки, пахло древесиной и железом, и на стене висела связка ключей. Ключи всегда говорят об управлении, даже если их держит человек смиренный.

Меня привели в комнату, которая была больше похожа на хранилище, чем на библиотеку университета. Здесь не было легкой ученой пыли; здесь царил порядок складских рядов. Полки стояли плотно, и на них лежали тетради, свитки, листы, книги в переплетах, которые видали и пустыню, и море. Пахло солью, старой кожей, дымом, и где-то в этом запахе проскальзывали едкие нотки серы и асафетиды. Я провел пальцем по одному из корешков, и кожа под рукой оказалась шероховатой, словно ее сушили не в нашей влажной Италии.

Там был брат, которого называли капелланом. Он говорил по-латински чисто, как человек, привыкший к этому языку, и при этом в его речи слышались слова, пришедшие с Востока. Он показал мне несколько книг и спросил: «Зачем тебе это?».

Я ответил так, как ученики обычно отвечают в школе: «Чтобы различать духов по их речи. Чтобы укрепить разум в истине.»

Он усмехнулся коротко. «Разум любит хитрость. Истина любит простоту. Ты способен различать, где одно прячется за другим?»

Я вспомнил свои диспуты и сказал: «Да, я умею различать, где слово служит Богу, и где оно служит тщеславию.»

Он подвел меня к столу, на котором лежал лист, исписанный рукой, которая привыкла к скорому письму. В углу стоял знак, похожий на печать. Капеллан произнес: «Здесь изложены доводы людей, которые много спорят о природе власти. Их речи доходили до нас через море. Читай. Потом поговорим.»

Я читал, и чем дальше всматривался в строки, тем яснее разумел: мне дали не забаву и не ученую редкость. Это была проверка, испытание. Они хотели видеть, как я поведу себя рядом с тем, что многим показалось бы опасным.

Так начались мои хождения в дом Храмовников. Я приходил сначала редко, затем все чаще. Всякий раз путь оставался тем же: от нашего монастыря через городские улицы, где слышны крики торговцев, где пахнет сыром и мокрой соломой, где адвокаты торопятся к суду, и где юноши несут книги под мышкой. Я входил в их двор и видел, как хозяйство и молитва сходятся в один общий строй. Здесь считали доходы с земель и готовили фураж, здесь принимали путников и отправляли гонцов, здесь служили мессу так же строго, как строем содержали конюшню. И здесь же обсуждали странные и опасные темы, знания о том, что боязно даже вымолвить. В этом месте власть не скрывалась; она виделась в связке ключей, в переплетенной коже, в воске печатей. Тогда они казались вечными, как сами Альпы, и их коменда была словно крепостью внутри крепости.

Поначалу наши беседы долго касались в основном философии и богословия. Мы говорили о том, как верная мысль должна удерживать человека от падения, как мудрое правило удерживает общину от распада, как смирение отделяет жизнь от греховной лени. Постепенно я все больше видел в рыцарях Храма людей, привыкших к молчанию, и это молчание давало им особую силу в разговоре: они говорили редко, зато каждый их вопрос касался самой сути вопроса. Иногда за столом сидели двое или трое, и один из них держал ладонь на рукояти ножа, спокойно, как держат руку на обычном предмете, вовсе без угрозы. Я учился понимать, что такой навык alertности тоже есть своего рода молитва, хотя и в иных одеждах.

Постепенно к нашим словам все больше примешивался дела мира. Поначалу это случилось почти незаметно: кто-то приносил письмо, и собеседник, не прерывая разговора, бегло читал его и прятал в рукав. Потом я начал слышать названия городов, которые лежали куда дальше Рима и даже дальше моря. Стали звучать названия портов, суммы, сроки, имена комтуров. И вот, в один вечер разговор коснулся судьбы Акры.

Падение последней твердыни на Святой земле, которое произошло уже почти 10 лет назад, до сих пор было в Падуе живой болью, словно вчерашний пожар. О нем спорили и в наших школах, и в домах купцов. Люди говорили о святынях, о реликвиях, о том, что христианство так много утратило на Святом берегу, и многим казалось, что мир подошел к своему краю. В монастырях все чаще поднимались слова о знаменьях, и ожидание великого рубежа нового столетия тревожило сердца. Я помню, как один из наших братьев сказал: «Если Господь допустил такую потерю, значит, мы уже стоим у дверей Суда». В таких речах было слишком много страха, и этот страх искал себе подобающую одежду благочестия.

У храмовников же эта тема звучала совсем иначе. Я сидел в их зале, где стены были украшены рыцарскими знаменами, и видел, как один из рыцарей стиснул пальцы на чаше, когда до него донеслось слово «Акра». Он сказал тихо и твердо: «Город пал. Но Дело осталось.»

Капеллан, тот самый, что открыл мне полки, добавил: «Люди хотят объяснения. Ордену нужен новый путь.»

Тут впервые я услышал разговор о союзе с восточными владыками, о возможности ударить по мамлюкам через иные земли, через «степь», и в речи мелькнуло слово «татары», которым у нас часто называли монголов. Говорили о письмах, о посольствах, о том, что некоторые надежды связывают с ханом и его войском, который может помочь в новом Походе. Я понял,

что в конце века мысль о возвращении Иерусалима держалась не только на страхе и не одной горячностью, она подкреплялась и трезвым расчетом и дипломатической перепиской. Бумага связывала королей и магистров так же крепко, как цепь связывает врата.

Так разговоры о падении Акры вошли в мою молодость, и я запомнил не столько подробности осады, сколько лицо Церкви в тот час: оно стало строже, темнее, тяжелее, словно на него легла пыль разрушенных стен.

Я слышал, что и Папа Николай IV пережил эту потерю как личную рану. Он был человеком Ордена, человеком бедности и устава, и весть о падении Акры звучала для него как укор всему Западу разом: и рыцарям, и королям, и тем, кто привык говорить о Кресте, держа при этом руку на кошеле. В монастырях читали послания и призывы к покаянию; в каждом слове чувствовалось, что это зов не к обыденной молитве, а к собранности всей Европы. Я помню, как старшие говорили о Папе так, словно он постарел за одну ночь, и словно эта ночь уже не кончилась до самой его смерти: он продолжал желать Иерусалима, при этом мир отвечал ему медлительностью, расчетом и разрозненной волей.

Тогда во мне укрепилась мысль, которую я долго не мог формулировать прямо, потому что она звучала слишком тяжело. Я увидел: одно благочестие не соединяет державы, и одна отвага не удерживает города. Нужна власть, способная собрать волю королей в один приказ, способная заставить их помнить, что они несут не только мечи, но и ответственность. Коль такого незыблемого центра нет, то и Святую Землю теряют по частям, и каждый оправдывает себя тем, что виноват кто-то другой. С той поры я стал внимательнее к самой природе Кафедры Рима: к ее праву повелевать, к ее обязанности карать, к ее способности держать мир в едином строе. И когда я видел, как Храмовники сжимают пальцы на чашах при имени Акры, я понял: их боль сродни той, что когда-то легла на сердце Николая; только у папы она стала законом, а у рыцарей – решимостью.

С этих пор мои посещения Сан-Стефано приобрели новый вкус. Конечно, я все еще оставался тем же ученым монахом, однако рядом с книгами от меня уже не прятали и документы. На столе рядом с рукописью могли появиться перечни имущества, завещания рыцарей, уходящих за море, расписки о долгах, рекомендательные письма для портов Адриатики. Тогда я впервые стал полезен им по-настоящему. В Падуе нас, августинцев, знали прежде всего как людей права и слова; к нам приходили и за юридической формой писем, которая поможет победить на суде, и за советом, который помогает сохранить честь и совесть. Храмовники ценили это, даже если вели себя с холодной осторожностью.

Я помню, как один рыцарь принес лист и сказал: «Я уйду за море. И мне нужно, чтобы моя воля осталась ясной.» Я взял перо. Воск для печати лежал рядом. Пламя свечи дрожало, и я думал о том, что эта дрожь и есть тень самой судьбы, от которой не уйти никому. Я писал спокойно, как приучаются писать в монастырях, но при этом и отчетливо слышал за спиной шаги людей, которые привыкли к палубам, к лошадям и к осадам. Когда я закончил, рыцарь прочел, кивнул и произнес: «Ты связываешь слова накрепко. Так и должно.»

Такие минуты создают дружбу быстрее и надежнее, чем многие беседы. В ученых диспутах мы можем узнать ум собеседника. Но в бумагах, которые касаются жизни и смерти, узнают самого человека, прикасаются к самой его душе.

Однажды я спросил капеллана о том, почему они принимают меня так близко. Он ответил без обиняков: «Да, у нас есть свои *fratres capellani*. Священник Храма принадлежит Храму. Это правило всегда должно соблюдаться, однако мы ценим и ученость и острый ум».

Я понял смысл. Их капелланы были частью их устава, частью их внутренней машины послушания; им не требовалась помощь со стороны. Тогда я спросил, зачем же им августинец. Он посмотрел на меня так, будто решает, сколько сказать. «Время стало тесным», – произнес он. – «Иногда нужна голова, которая знает право, и язык, который знает школу, тогда, когда

случается дело посольское, когда возникает дело совета. Бывает нужда в человеке, которого будут слушать и в монастыре, и при дворе.»

В этих словах я услышал намек на то, что планы их Ордена идут гораздо дальше мечей и сражений. Посольство к монголам обсуждали как действие возможное на рубеже века; об этом ходили речи и у нас, и в домах знати. Папский двор стремился посылать легатов и советников туда, и им требовался образованный клирик, способный говорить с чужими властителями, читать и составлять письма и сохранять достоинство веры Христовой. Я понял, что в таких делах монах, привыкший к университетской жизни и обычаям, может стать мостом между железом и пергаментом.

Тогда же стало ясно, что и в нашем Ордене к таким поручениям относятся двояко. Внутри Августинского дома превыше всего ценится любовь к учению и к тишине; вместе с тем мы служим Церкви, и Церковь требует особого служения там, где поднимается большая нужда. Я знал, что мои старшие братья будут взвешивать каждое слово, прежде чем согласиться отпустить меня к рыцарям. Однако дружба, которая уже сложилась у меня с храмовниками, меняла многое. Я приходил к ним давно, я спорил с ними честно, я не искал у них милости, превыше всего я искал правды и мудрости, и они видели и ценили это. А помимо этого, они зрели и другое: я умел хранить сказанное, мог держать в уме несколько языков, умел писать грамоты, верно и точно подбирая слова и значения.

В один из вечеров прецептор, прежде говоривший со мною только кратко и сухо, задержал меня у двери. Он сказал: «Тебя уже хорошо знают у нас. Тебя также славно знают у твоих. Когда придет час, мы попросим.»

Я ответил, и голос мой звучал куда спокойнее, чем сердце: «Коль Церковь прикажет, я пойду. Если прикажет совесть, я тоже пойду. Я прошу только одного: чтобы путь не уходил от Бога».

Он кивнул: «Смысл у пути один. Дорога учит человека ясно зреть, что он собой представляет.»

Я вышел в падуанскую ночь. Сырость камня поднялась от земли, колокола отзвенели поздний час, и город казался крепостью, которая хранит в себе великое множество разных сил. Тогда я уразумел, что хотя знакомство с храмовниками началось у полок с книгами, это было моим первым шагом к мудрости Востока. Так путь к войне иногда начинается со страниц, на которых чернила еще пахнут дальними странами.

И вот, к часу военного предприятия я уже входил в дом тамплиеров как свой, и потому моя скромная персона могла быть принята одновременно и братьями Эремитани, и самими храмовниками.

2. «Последний вздох» крестоносцев

Когда в 1299 году в Падуе пошли вести о победе Газан-хана над мамлюками при Вади аль-Хазнадар, город судачил о ней тем особым шепотом, который всегда вьется вокруг больших надежд. Эти вести приносили купцы и клирики, люди, привыкшие жить дорогами. Они повторяли одно и то же с разными подробностями, и в каждом повторе нарастала уверенность: Дамаск взят, путь открыт, Иерусалим близок, союз восточного владыки с христианами стал делом решенным. Кто-то называл это “желтым крестом”, будто в самой краске знамени уже заключена победа. Я слушал эти речи сперва с ученой осторожностью, затем с тем чувством, которое можно назвать соблазном истории: разум видит слабые места слуха, сердце уже идет вперед, словно корабль, который тронулся прежде приказа.

Я приходил к храмовникам на Виа Альгинате давно, и знал, что эти вести, конечно, не прошли мимо их двора. В их доме новости отражались в письмах, переговорах, расчетах оружия, провианта и лошадей. Вечером, когда свечи дарили особую близость к Высшему и стояла тишина, прецептор раскладывал перед собой листы, где были имена людей и названия портов. Капеллан, знавший восточные речи, читал латинские строки, пришедшие с Кипра, и его голос звучал с холодным спокойствием, скрывая волнение души. Я сидел рядом и видел, как надежда постепенно превращается в поручение.

В те дни говорили и о святейшем папе Бонифации, и о королях, которые снова начали писать друг другу о Святой Земле. В наших школах спорили о том, как следует трактовать такие совпадения: победа восточного хана, новая горячность Европы, приближение круглых годов, которых простые люди боятся, как преддверия суда. В этих разговорах было много дыма. При этом среди храмовников слышалась иная нота: они знали цену дыма, они искали огонь, которым можно управлять. Их лица становились еще более сдержанными, когда звучало имя Акры. Память о падении того города связывала их, как уздой и била, словно жестокие плети. Я видел, как рука рыцаря сжимает край стола, когда упоминают утраченные стены и пристани. Он не произносил жалоб, он переживал боль и взрачивал решительность для нового броска.

Тогда же говорили о чаше Тайной вечери, о Санто Калис, о сосуде, в котором Господь благословил вино и дал ученикам знак Нового завета. В Падуе подобные речи редко находили место в публичных диспутах; при этом у Храмовников, привыкших хранить то, что важнее их жизни, эти рассказы всегда сопровождали память об Акре, ложась на печаль, как печать на мягкий воск. Я видел, как один брат-рыцарь, услышав про Чашу, на миг отвел взгляд, словно перед ним встала не городская стена, а огонь в порту и бегущие по пристани люди, которые спасают святыни, пока еще их скрывает ночь.

Говорили так: когда стены Акры уже ломались под натиском, небольшую часть самых дорогих вещей успели вывести к морю, и среди них была и Святая Чаша; ее спрятали в одной из обителей Храма, где стены крепки, а замки заперты не только железом, но и могучим колдовством. Никто не называл этого места вслух. Это было похоже на обет. Одни утверждали, что Сосуд потерян вместе с архивами и печатями, другие же говорили о ночном судне, которое вынесло его прочь от огня, смертей и криков. Я слушал и чувствовал, как сама мысль о подобной святыне раздвигает пределы скорби: падение города переставало быть лишь военной потерей, оно превращалось в вопрос о том, что Господь оставляет людям в час бедствия. Святая чаша в таких речах выглядела как последняя точка опоры, и потому вокруг нее собирались мечты и страхи, равно сильные.

Для меня эта весть стала особым испытанием. Я знал, как легко человек, потрясенный гибелью, начинает искать видимые знаки, чтобы удержать веру от распада. Вместе с тем я видел и другое: Храмовники говорили о Чаше как о тайне, которую следует беречь до срока. И тогда падение Акры раскрывалось передо мной с новой стороны: в дыму рушатся стены и замолкают

колокола, при этом люди продолжают спасать то, что связывает их со Всевышним. Так в моем сердце закрепилась мысль, что сила Церкви держится не только на крепостях и флотах, она, превыше всего, держится на памяти о Божием Присутствии, которое нельзя отнять силой.

Когда замысел о новом походе созрел и перестал быть только разговором у свечи, прецептор Тамплиеров составил прошение, и оно ушло вверх по лестнице Церкви, к тем, кто решает, где прошение превращается в поручение. В Падуе о таких письмах не говорят громко, однако в доме Храма я видел, как готовят лист, как выбирают формулировки, как оставляют место для подтверждения и для знаков. Им требовалось не одно лишь священническое сопровождение, которого у них было достаточно, им требовался человек школы и доверия, пригодный для дела советного и посольского, потому что весь замысел основывался на союзе с Ильханатом и на надежде согласовать удар степи и моря.

Ответ Святого престола пришел чрез время, как приходит всякое решение Рима: сдержанно, с тяжестью, с ясным указанием. Папа благословил предприятие и возложил на меня особую миссию, так что я должен быть отправиться в поход как порученный Церковью советник при гарнизоне. Это изменило и тон моих старших в Эремитани, и взгляд храмовников: теперь мое присутствие было подтверждено самой вершиной церковной власти. Я со смирением принял поручение, и в тот миг почувствовал, как слово “послушание” стало для меня одновременно шире и теснее: оно перестало означать только жизнь внутри монастырских стен и стало дорогой, которая ведет туда, где вера испытывается смертью, огнем и оружием.

У храмовников были свои братья-капелланы, люди их устава, их внутреннего закона. Моя польза заключалась в другом: в слове, которое может быть советом; в письме, которое выступает мостом; в знании, которое может удерживать равновесие между надеждой и приказом. В то время и в самом Риме, и на Кипре говорили о посольствах к монголам, о согласовании удара по мамлюкам, о том, чтобы с моря и степи ударили вместе. Такие дела требуют людей, которых слушают без сомнения. Храмовники смотрели на меня как на человека школы. Мои старшие в Эремитани смотрели на меня как на послушника, который уже умеет держать слово. Так возникло редкое согласие двух разных домов, каждый из которых дорожит своим именем, своей честью и своей властью.

Я получил благословение, и в нем прозвучала тяжесть. Старший брат, возлагая руку мне на голову, говорил о послушании, о пользе для Церкви, о долге перед теми, кто идет за море. Его голос был ровен, однако я услышал в нем тревогу: монастырь отпускает человека в мир железа. В тот же день прецептор Храма дал мне грамоты и краткие указания, сказанные так, словно любая лишняя фраза отнимает у пути силу. Я увидел печать, почувствовал запах сургуча, и этот запах запомнился мне надолго, потому что он смешался в памяти с кровью и песками.

Как капеллан и человек книги, я не нес на себе тяжесть оружия; мой багаж был мал и говорил о моем назначении яснее любых речей. В сумке при поясе лежали Устав святого Августина и требник, без которых путь превращается в пустую дорогу; при мне были письма, полученные силами дома Храма и подтвержденные благословением Рима; и еще я взял малую реликвию – частицу мощей святого Антония, покровителя Падуи, чтобы в час страха напомнить рыцарям о заступничестве и о том, что святость может идти рядом даже по камню и морю.

Путь к морю начался с плавания по каналу Пьювего на восток. Из Падуи мы вышли на плоскодонной барке, и город медленно отступал назад. Я сидел среди мешков и связок, слушал плеск воды, и думал о том, как странно соединяются в одной судьбе наши ученые занятия и корабельная дорога. Вода несла нас к Венеции, и эта дорога заняла меньше дня, однако в ней уже было то, что я потом узнаю на море: терпение, которое не просит быстрых ответов.

Венеция встретила меня запахом смолы и шумом верфей. Там были большие суда, тяжелые по корпусу, и легкие галеры, быстрые, как мысль. Люди там говорили о ветрах и деньгах одним и тем же голосом. Я видел, как грузят бочки, как считают сухари, как проверяют ремни

на мачтах. Венецианцы умели делать море источником дохода и завоевания. Храмовники же умели делать море служением. Я стоял между этими двумя умениями и понимал: вера без ремесла остается словом, ремесло без веры остается жадностью. В таких местах человек учится различать, какая сила ведет его на самом деле.

Из Венеции мы отправились к Анконе на торговой галере вдоль побережья. Это заняло 3 дня. Я не мог миновать родной порт, словно сама кровь требовала проститься с домом и принять последние слова от тех, кто знал меня с детства. В это время море напомнило мне свой характер: то гладкое, как отполированное железо, то вздрагивающее и темное. Ночью я лежал среди людей, которые привыкли к качке, и слушал их молитвы. У моря молитва звучит не так, как на равнине. Она короче, она ближе к просьбе, чем к размышлению. Там, где под ногами нет прочной земли, человек быстро узнает цену собственной гордости.

В Анконе я увидел дядю, Гульельмо Бомпиани, и встреча эта была тише любых городских разговоров. Он так и жил отшельником, вдали от суеты пристаней и счетных книг, и потому всякий его жест казался очищенным от лишнего. Я пришел к нему перед самым отходом, как идут к источнику, чтобы не нести в дорогу пустую голову. Он встретил меня без расспросов, словно уже знал, зачем я пришел; его келья пахла сухими травами и воском, и в ней было то особое спокойствие, какое рождается у людей, долго живущих перед Богом.

Он выслушал меня, не перебивая, затем возложил руку мне на голову и благословил. Он сказал: «Ты назван в честь того, кто описал Небесный Град. Твой долг – защитить его земное отражение». После благословения он сказал слова, которые я ношу в себе до сих пор: путь будет тяжок и опасен, при этом за морем мне откроются дары мудрости и силы для нового служения. Он говорил негромко и уверенно, с особой торжественностью в голосе, словно заряжая и меня своей связью с Высшим. Я попытался спросить, откуда у него такая уверенность, однако он поднял ладонь, и этим жестом закрыл вопрос, словно напоминая: предвидение не терпит расспросов, а молчание лучше всяких объяснений. Когда я выходил, мне казалось, что вместе с его рукой на моей голове на меня легла ответственность куда тяжелее дорожного мешка.

Когда мы вышли из Анконы на большую транспортную наву, море открыло свою настоящую ширь. Судно было нагружено провиантом и людьми, и в каждом углу чувствовалась теснота. Тамплиерские слуги без лишних слов поддерживали порядок, и плавание проходило поначалу довольно спокойно. Я учился жить рядом с оружием и рядом с простыми людьми, которые не знали наших диспутов, однако знали страх и знали терпение. На палубе читали псалмы, и в этих псалмах слышался голос тех, кто смиренно молит Господа сохранить им жизнь. Мы заходили на острова, брали воду, чинили снасти, и снова шли вперед. Корфу, затем обход Пелопоннеса, потом Крит, и наконец Кипр. Дни растягивались, и я впервые почувствовал, как море способно вымывать из человека все мелкое и второстепенное, оставляя главное: либо ты держишься за Господа, либо ты полагаешься на собственную волю.

Тело мое тоже вступило в это послушание, и оно оказалось строже всякой книги. На первом же большом переходе море показало мне, что я монах сухопутный: качка ломала внутренний порядок, желудок восставал, голова тяжелела, и молитва порой поддерживалась на одном только усилии воли. Я стыдился этой немощи перед людьми, которые смеялись над бурей, как над привычным врагом, однако вскоре понял: море обучает смирению быстрее любого наставника, потому что здесь нельзя притвориться стойким.

На Кипре мы вошли в иной мир. Там еще стояли кресты на башнях, там еще жили люди, которые говорили о Святой Земле так, словно берег Сирии виден из окна. В порту, где мы остановились, слышались имена Орден, звучали языки, которые я прежде слышал лишь в книгах. Тамплиеры и госпитальеры держали там свои дома, и каждая обитель сейчас жила ожиданием. Ожидали монгольского наступления. Ожидали знака. Ожидали письма, которое скажет, что «время пришло». Я видел, как рыцари глядят на восток, будто их взгляд способен ускорить ход истории.

Затем пришла жара. Я помнил прохладную Падую, ее влажный камень, тень под аркадами, и потому южный воздух ударил в меня, как раскаленное железо. В Леванте и на Кипре свет был иной, и дыхание становилось трудом, пока тело не привыкнет; ночи не приносили прежнего облегчения, а днем даже самая простая служба требовала большой силы. Так дорога напоминала мне, что человек несет к Востоку не одну лишь веру и разум, он несет и плоть, и эта плоть обязана покориться пути.

В эти дни ко мне подходили разные люди и спрашивали о Газане. Они спрашивали о том, правда ли он благоволит христианам, правда ли его родня придерживается несторианской ереси, правда ли он готов вернуть Иерусалим. Я отвечал тем, что знал, и тем, что слышал от храмовников. Я говорил о победе при Вади аль-Хазнадар, о занятии Дамаска, о слухах посреди Европы, которые сами себя раздувают. При этом во мне бурлила двойная мысль: Господь может пользоваться даже чужой властью, чтобы испытать своих; а человек способен превращать испытание в уверенность, которой нет основания. Эта двойная мысль мучила меня, потому что я хотел верить в чудо истории, но разум требовал осторожности.

Наконец настал день, когда нас посадили на военное судно, и мы пошли к острову Арадусу (который чаще на франкский манер именовали Руадом). Этот переход был очень короток по морю, однако очень долг по душе: в нем была смертельная теснота. Судно старались вести ночью, чтобы дозоры мамлюков не заметили нас с берега. Я стоял у борта и видел темную линию суши. Там, на материке, была Сирия. Там стояли войска, которые удерживали Иерусалим от Запада уже много лет. Мы шли к маленькому острову напротив Тартуса, даже не настоящему острову, а голой скале, которую можно обойти взглядом. И все же на этой неприветливой скале храмовники хотели поставить последнюю ступень к возвращению на Святую землю. В 1300 году на острове высадился отряд тамплиеров под командованием маршала ордена Бартеlemi де Кинси. Они восстановили укрепления и ждали подхода монгольской армии, чтобы начать совместное вторжение в Сирию.

Незадолго до этого, в июле 1300 года, король Иерусалима Генрих II в сопровождении других киприотов организовали морскую операцию по рейдам. Шестнадцать галер, объединивших силы Кипра с силами тамплиеров и госпитальеров, в сопровождении посла Газана Изола Пизанского, смогли совершить набеги на Розетту, Александрию, Акр, Торгосу и Мараклею. Эти морские рейды были последним проблеском надежды на отвоевание Святой земли, однако эта надежда, подогреваемая морским бризом и звоном захваченного золота, постепенно превращалась в удушливое осознание изоляции.

Руад встретил нас камнем и ветром. На нем не было ни поля, ни сада, ни источника. В центре острова возвышался массивный прямоугольный донжон тамплиеров, который еще хранил в себе остаток былой силы. Это был многоуровневый лабиринт из узких переходов, арсеналов и келий. Мне выделили небольшую каморку в северной башне, откуда в ясные дни можно было увидеть тонкую полоску гор Ливана. Недалеко внутри замка располагалась маленькая, аскетичная церковь, где тамплиерские капелланы служили требы и рыцари приносили обеты. Там всегда пахло воском и старой кожей – запах, который я позже для себя именовал «ароматом обреченного мужества».

Несмотря на мощь стен, у Руада была смертельная слабость, которую я осознал сразу: на острове не было ни одного источника пресной воды. Живущие там зависели от дождевой воды, собиравшейся в глубоких вырубленных в скале резервуарах, и от подвоза воды с Кипра или материка. И я видел, как даже самые смелые рыцари Руада с надеждой и мольбой смотрят на небо. В крепости Руада молитва о дожде была важнее молитвы о победе.

Я увидел людей, которые жили на этой скале уже давно, и понял, что они живут ожиданием. Они ожидали монгольской конницы, ожидали пыли над горами, ожидали гонца, который принесет знак. На этом крошечном скалистом острове царил возбуждение: рыцари чистили

доспехи, веря, что Газан-хан вот-вот обрушится на Дамаск, и они, тамплиеры, станут авангардом великого возвращения в Иерусалим.

Остров стал передовой базой, приготовленной для союза с восточным ханом. Сюда привезли лучников, сюда привезли слуг, сюда привели женщин и детей тех, кто не успел уйти. Жизнь на Руаде была лишена всякой приватности. 120 рыцарей, 500 сержантов и сотни слуг жили на клочке земли длиной всего 800 метров. В тесном месте люди сбиваются в плотную массу, и всякая слабость становится видимой, как пятно на белой ткани.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.